



ТОМ IV.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Николай Штейнгель
Русская сталь том 4

«Автор»

2026

Штейнгель Н. А.

Русская сталь том 4 / Н. А. Штейнгель — «Автор», 2026

Парламент предаёт Россию. Газовые атаки, ядерный удар по Байкалу. Филатов отдаёт противогаз императору и внуку. Последний бой без надежды. Смерть героя.

© Штейнгель Н. А., 2026

© Автор, 2026

Николай Штейнгель

Русская сталь том 4

глава 1(а что происходит)

Петроград, Зимний дворец, зал заседаний парламента. Сентябрь 2066 года. За высокими, в полстены, окнами, выходящими на Неву, ещё было тепло, даже почти по-летнему тепло, и солнце, низкое уже, но ещё яркое, золотило купола Исаакия, и в этом золоте было что-то такое, от чего даже старые, выдавшие виды депутаты, которых Филатов называл про себя «говорунами и торгашами», становились немного мягче, немного человечнее, и спорили уже не так яростно, как обычно, а с какой-то ленцой, будто понимали, что лето уходит, а вместе с ним уходит и что-то важное, что-то такое, что уже никогда не вернётся, и теперь остаётся только дожидаться осени, а потом зимы, а потом – новой весны, которая, может быть, принесёт что-то новое, а может, и нет, и никто не знает, что будет завтра, и даже царь, который сидит на троне и смотрит на них своими усталыми, но всё ещё зоркими глазами, не знает, что будет завтра, потому что завтра – это тайна, и тайна эта покрыта мраком, и только Бог ведаёт, что там, за поворотом, за следующим днём, за следующей неделей, за следующим месяцем, который может стать последним для многих из тех, кто сейчас сидит в этом зале, слушает эти речи, кивает, улыбается, аплодирует, а потом уходит в ночь, чтобы утром вернуться и начать всё сначала.

Филатов сидел в своём обычном кресле — не в президиуме, не на трибуне, а в глубине зала, в третьем ряду с краю, откуда всё было видно, как на ладони, но где на него никто не обращал внимания, потому что старый полковник, отставной полковник, уже не тот, кого бояться, а тот, кого уважают, но уважение, как известно, не мешает делать своё дело, даже если это дело — предательство, ибо уважают часто тех, кто опасен, а опасен Филатов был для тех, кто замышлял недоброе против царя и России, и депутаты это знали, но предпочитали делать вид, что не замечают его присутствия, потому что замечать его было себе дороже, себе опаснее, себе гибельнее, ибо старый полковник, даже в отставке, даже без оружия, даже с пустыми руками, мог убить взглядом, убить словом, убить одним своим молчанием, которое было красноречивее любых речей.

Рядом с ним, чуть приотстав, чтобы не привлекать лишнего внимания, сидел Белов, и оба они смотрели на императора Рюрика, который, в свою очередь, смотрел на депутатов с того самого места, которое когда-то занимал его отец, царь Ростислав, а до него – ещё другие цари, и это место, казалось, хранило в себе память о всех этих речах, о всех этих спорах, о всех этих обещаниях, которые, как вода, утекали в песок и не оставляли после себя ничего, кроме усталости и горького привкуса во рту, когда понимаешь, что тебя обманули, и обманули те, кто клялся в верности, кто целовал крест, кто давал слово, которое ничего не стоило, потому что слова, особенно в парламенте, слова — это ветер, ветер, который дует то в одну сторону, то в другую, и никто не знает, куда он подует завтра, и что принесёт с собой — дождь или засуху, урожай или голод, мир или войну.

Император Рюрик был спокоен. Это спокойствие, которое Филатов знал по себе, когда долгие годы войны и службы приучают не показывать страха даже тогда, когда сердце готово выпрыгнуть из груди, а мысли путаются, как провода на коммутаторе в старом бункере, где каждый провод может оказаться тем самым, последним, который либо спасёт, либо погубит,

было почти осязаемым, почти материальным, и депутаты, глядя на него, умолкали один за другим, пока в зале не воцарилась тишина — не та, торжественная, которая бывает перед казнью или перед великим откровением, когда замирает сердце и перехватывает дыхание, а та, бытовая, будничная, когда сказано уже всё, что можно было сказать, и остаётся только ждать решения, и это ожидание, липкое, как патока, тянулось и тянулось, и казалось, что не будет ему конца, что так и будут сидеть они в этом зале, смотреть друг на друга и бояться сделать первый шаг, потому что первый шаг — это всегда ответственность, а ответственности никто не хотел, никто не искал, никто не жаждал, ибо ответственность — это не слава, не деньги, не власть, это тяжёлый крест, который не каждый способен нести, и многие, очень многие предпочитали уваливать, прятаться, отмалчиваться, лишь бы не брать на себя то, что может раздавить, сломать, уничтожить.

Рюрик оглядел зал. Взгляд его, спокойный и тяжёлый, скользил по лицам депутатов, и каждый, кто попадал под этот взгляд, чувствовал себя так, будто его раздели догола и выставили на всеобщее обозрение — со всеми его страхами, сомнениями и тайными желаниями, которые он прятал даже от себя, даже от самых близких, даже от священника на исповеди, потому что есть вещи, о которых не говорят никому, есть мысли, которые не высказывают вслух, есть желания, которые лучше держать в себе, ибо если они вырвутся наружу, то уже не будет пути назад, и придётся отвечать за них — перед Богом, перед царем, перед собственной совестью.

Прошло несколько минут, прежде чем император заговорил. И когда он заговорил, голос его был негромким, но властным, и каждое слово падало в тишину, как камень в колодец — с глухим, тяжёлым звуком, который не растворить, не забыть, не стереть из памяти, даже если очень захотеть.

— Господа, — сказал он. — Мы собрались здесь сегодня не для того, чтобы обсуждать бюджет или налоги. Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, что происходит на границах нашего государства. Китай стягивает войска к Дальнему Востоку. Япония, наш союзник, колеблется. Европа, наша сестра, занята собственными проблемами и, кажется, забыла, кто спас её от хаоса. Что вы предлагаете?

Депутаты зашептались, зашевелились, зашуршали бумагами, закашлялись, заёрзали на своих местах, и кто-то из них, старый, седой, с лицом, похожим на печёное яблоко, покрытое морщинами, как кора старого дуба, что стоял на краю деревни и помнил ещё нашествие Наполеона, встал и, прокашлявшись, оправив сюртук, одёрнув жилет, поправив очки, которые норовили сползти на кончик носа, произнёс:

— Ваше Величество, мы предлагаем начать переговоры. Китай — великая держава, и если мы уступим им в малом, то сохраним большое. Нельзя воевать на два фронта, когда враг силён, а союзники ненадёжны. История учит нас, что...

— Уступить? — переспросил император, и в голосе его прозвучал холод, которого депутаты, видно, не ожидали. В этом холоде было что-то от зимней Невы, когда лёд трещит под ногами, и каждый шаг может стать последним, когда ветер пронизывает до костей, и даже самая тёплая шуба не спасает от того мертвящего холода, который идёт изнутри, от сердца, которое сжалось в комок и не хочет отпускать этот страх, этот ужас, эту боль. — Уступить свои земли? Свои народы? Свою честь?

Старый депутат хотел возразить, но, встретив взгляд царя, опустил на место и больше не поднимал головы, уткнувшись в бумаги, которые лежали перед ним, и Филатов, глядя на его согнутую спину, подумал: «Струсил. Струсил, как и все они. Как и всегда. Стоило царю повысить голос — и они уже трясутся, как зайцы, хотя ещё минуту назад готовы были продать родину за обещание мира».

Тогда встал другой, помоложе, с живыми, бегающими глазами, которые, казалось, видели всё, но не запоминали ничего, и с голосом, который был таким же скользким, как и его взгляд.

— Ваше Величество, мы говорим о Курилах. Это не Россия. Это спорная территория, и мы можем...

— Это Россия, — отрезал император. — И это не обсуждается.

Спор затянулся на несколько часов. Филатов слушал, и в голове его билась одна мысль, одна боль, одна мука: «Предатели. Они предадут, как только увидят, что царь слаб. Но царь не слаб. Он просто устал. Устал от этой бесконечной говорильни, от этих обещаний, которые не выполняются, от этих улыбок, которые скрывают ножи, от этих рукопожатий, после которых хочется вымыть руки, от этих взглядов, которые лгут, даже когда говорят правду». Он подумал о том, что когда-то, давно, в Линне, он учил этого мальчика, который теперь стал императором, не бояться говорить правду, даже когда она неприятна, даже когда она режет слух, даже когда она может стоить жизни, даже когда она может стоить трона, даже когда она может стоить всего, что у него есть. И теперь этот мальчик, став мужчиной, став царем, став отцом, говорил правду, и депутаты, которые не привыкли к правде, ёжились, отводили взгляды, но не спорили — боялись, боялись не царя, боялись правды, потому что правда, как свет, освещает всё, что скрыто в темноте, и то, что скрыто в темноте, не выносит света.

В конце заседания, когда все разошлись, когда опустели кресла, когда погасли микрофоны, когда слуги начали гасить свет, готовя зал ко сну, к новому дню, к новым спорам, император подошёл к Филатову и, сев рядом на освободившееся место, которое ещё хранило тепло чьего-то тела, чьей-то усталости, чьего-то страха, сказал:

— Федя, я чувствую, что нас обманывают. Я не доверяю этому парламенту. Они смотрят на меня так, будто я уже не царь, а помеха на их пути, камень, который нужно убрать с дороги, чтобы идти дальше. И я не знаю, что они задумали, но знаю, что они задумали недоброе.

— И правильно, — ответил Филатов, потирая левую руку, которая затекла от долгого сидения в одной позе, от долгого молчания, от долгого наблюдения за тем, как рушится то, что они строили годами, десятилетиями, всей своей жизнью. — Парламент — это не царь. Парламент — это говорильня, базар, табор, где каждый тянет одеяло на себя, где каждый торгуется за свой кусок власти, за свой кусок влияния, за свой кусок будущего, который он хотел бы урвать, не думая о том, что будет с другими, не думая о том, что будет со страной, не думая о том, что будет с теми, кто за этой страной стоит, кто пашет, кто сеет, кто строит, кто воюет, кто умирает, чтобы эти господа могли сидеть в мягких креслах и рассуждать о высоких материях. А царь должен слушать, но решать сам. И не поддаваться на уговоры, если они идут вразрез с интересами державы.

— Ты думаешь, они решатся на что-то серьезное? — спросил император, и в голосе его прозвучала та самая усталость, которую Филатов слышал в нём много раз, но которую царь

старался скрывать даже от самых близких, даже от него, даже от маленького Кирилла, который не должен был знать, что его отец устал, что его отец боится, что его отец не знает, как быть дальше, и надеется только на чудо, на удачу, на Бога, который, возможно, слышит его молитвы, а возможно, и нет.

— Уже решились, — сказал Филатов. — Вопрос только в том, на что именно. Может, на переворот. Может, на предательство. А может, и на то, и на другое. Я видел таких, как они, раньше. В двадцатых, в тридцатых, в сороковых. Они всегда предают, когда чувствуют, что царь слаб. Но царь не слаб, князь. Он просто устал. А усталость — это не слабость. Усталость — это повод отдохнуть, а не сдаваться.

Они сидели в пустом зале, где ещё витал запах табака, духов и чего-то ещё, неуловимого, похожего на страх, на тоску, на предчувствие беды, и тени их, удлиняясь с каждым уходящим лучом солнца, падали на стены, на которых висели портреты царей прошлого — Петра, Екатерины, Александра, Николая, — и казалось, что эти портреты смотрели на них с укором или с надеждой, и трудно было понять, чего в этих взглядах больше, укора или надежды, потому что и то, и другое перемешалось в них, как кровь с водой, как песок с глиной, как правда с ложью, и невозможно было разобрать, где одно, где другое, где свет, где тьма, где жизнь, где смерть.

Филатов, глядя на портрет царя Ростислава, отца Рюрика, царя, который когда-то вытащил страну из хаоса, а потом умер, оставив сыну тяжёлое наследство, подумал: «Боже, дай мне сил не подвести его сына. Дай мне сил дожить до конца и увидеть, что всё было не зря. Дай мне сил умереть спокойно, зная, что Россия выживет, что Россия воскреснет, что Россия будет жить, даже когда нас не станет».

А через два дня пришла весть, которая перевернула всё.

Она пришла не с утренней почтой, не с курьером, не по телефону. Она пришла с человеком, который, сломя голову, нёсся из Сибири, из тайги, из лесов, где даже звери боялись показываться, и этот человек, грязный, оборванный, с красными, воспалёнными глазами, упал на колени перед императором и прохрипел:

— Ваше Величество, беда! Парламент предал! В Сибири восстание! Дороги перекрыты! Вас хотят убить!

Филатов, услышав это, почувствовал, как левая рука — та самая, с ремнём, который он не снимал никогда — сама собой сжалась в кулак, и костяшки побелели, как бумага, на которой пишут приговоры.

— Князь, — сказал он, глядя на побледневшего Рюрика, — это начало. Надо уходить.

— Куда? — спросил император.

— В Сибирь. Туда, где нас не найдут. Туда, где мы сможем собрать силы и ударить в ответ.

— А Петроград?

— Петроград мы отвоюем, — твёрдо сказал Филатов. — Но сначала нужно выжить.

Они собрались за час. Взяв Белова, взяв «теней», взяв маленького царя Кирилла, который ещё не понимал, что происходит, но уже чувствовал, что случилось что-то страшное, и тихо плакал, уткнувшись в плечо отца, они покинули Зимний дворец, который ещё недавно был их домом, а теперь стал ловушкой, из которой надо было бежать, бежать, не оглядываясь, бежать, чтобы выжить, чтобы бороться, чтобы победить.

Они покинули Зимний дворец в полночь, когда Петроград, уставший от дневной суеты, погрузился в тот тяжёлый, давящий сон, который бывает перед грозой, когда в воздухе пахнет озоном и страхом, и даже фонари, казалось, светили не так ярко, как обычно, будто тоже боялись привлечь к себе внимание, будто и они понимали, что грядёт что-то страшное, что-то такое, от чего содрогнется земля и содрогнутся небеса, и не будет спасения никому — ни тем, кто в окопах, ни тем, кто во дворцах, ни тем, кто в лесах, ни тем, кто в городах.

Филатов сидел в кабине грузовика, сжимая в руке автомат, и смотрел на проплывающие за окном улицы — знакомые, родные, но уже чужие, потому что он знал, что они возвращаются сюда не скоро, а может быть, и никогда, и эта мысль, холодная, как лёд, сжимала сердце, заставляя его биться чаще, но не от страха, а от гнева — гнева на тех, кто предал, кто продал, кто променял Россию на свои кресла, на свои банковские счета, на свои обещания, которые ничего не стоят.

Рядом с ним, прижавшись к боку, дремал маленький царь Кирилл, и его дыхание, ровное и спокойное, было единственным напоминанием о том, что жизнь продолжается, даже когда вокруг рушится всё, что ты строил годами, даже когда враг у ворот, даже когда кажется, что нет выхода, нет спасения, нет надежды. Филатов смотрел на мальчика, на его безмятежное лицо, на его светлые волосы, на его руки, сжимавшие край его шинели, и думал: «Боже, сохрани его. Сохрани этого ребёнка, который ещё не знает, что такое война, который ещё верит, что завтра будет лучше, который ещё не понимает, что мир, в котором он живёт, рушится, и рухнет, может быть, завтра, а может, и сегодня, через час, через минуту, через секунду».

Император Рюрик сидел напротив, на откидном сиденье, и смотрел в темноту за стеклом с таким видом, будто пытался разглядеть там что-то, что было скрыто от других, будто он видел будущее, и это будущее было не таким, каким они его себе представляли. Лицо его было непроницаемым, но Филатов знал, что творится у него внутри — там, где обычно прячутся страхи и сомнения, которые царь не может позволить себе показывать даже самым близким, даже ему, даже маленькому Кириллу, который не должен знать, что его отец боится, что его отец не знает, как быть дальше, что его отец надеется только на чудо, на удачу, на Бога, который, возможно, слышит его молитвы, а возможно, и нет.

Император думал о том же, о чём думал и Филатов: о предательстве, о войне, о том, что шестисотмиллионная армия врага сейчас движется на Россию с трёх сторон — с запада, с востока, с юга, — и двенадцать миллионов русских солдат — это капля в море, которая может высохнуть, не успев пролиться, капля, которая не сможет потушить пожар, который охватил весь мир, и не будет спасения, не будет пощады, не будет ничего, кроме крови, грязи и смерти.

— Князь, — тихо сказал Филатов, — мы не должны сдаваться. Даже когда кажется, что всё кончено, даже когда нет сил, даже когда надежды нет, мы не должны сдаваться. Потому что если мы сдадимся, то предадим тех, кто верит в нас, кто надеется на нас, кто ждёт от нас спасения. А мы не имеем права их предавать. Мы не имеем права.

— Я не сдаюсь, — ответил император, и в голосе его прозвучала та самая сталь, которую Филатов слышал в нём много раз, начиная с того самого дня, когда они вместе бежали из окопов под Питером, и он, шестнадцатилетний мальчишка, учил Рюрика не закрывать глаза перед выстрелом, не бояться смерти, не бояться боли, не бояться того, что завтра может не наступить. — Я просто думаю о том, как мы будем жить после. Когда всё это кончится. Если кончится.

— После будет то, что мы сделаем сейчас, — сказал Филатов. — И если мы выживем, то будем жить. А если нет — то умрём с честью. И это тоже победа. Потому что честь — это то, что нельзя отнять, даже когда забирают жизнь.

Они замолчали.

Колонна из пяти грузовиков шла на восток, туда, где за лесами и горами лежала Сибирь — последний оплот, последняя надежда, последний рубеж, за которым не было ничего, кроме тайги и отчаяния, кроме холода и тьмы, кроме безмолвия, которое страшнее любого крика.

Путь занял почти месяц. Они объезжали города, где уже хозяйничали мятежники, где на столбах висели повешенные, где улицы были перекрыты баррикадами, а из окон вместо цветов торчали стволы пулемётов; прятались в лесах, где даже днём было темно, как ночью, и где каждый шорох казался выстрелом; ночевали в заброшенных деревнях, где даже собаки, казалось, забыли, как лаять, и только ветер выл в трубах, напоминая о том, что жизнь здесь была когда-то, но ушла, и вряд ли вернётся когда-нибудь.

Филатов почти не спал — он дежурил, следил за дорогой, проверял связь, и только когда маленький Кирилл, просыпаясь ночью, звал его: «Деда, почитай сказку», он на время забывал о войне, о предательстве, о том, что враг уже вступил на русскую землю, и рассказывал мальчику о богатырях, о царях, о Боге, о том, что добро всегда побеждает зло, даже когда это кажется невозможным, даже когда зло кажется всемогущим, даже когда добро остаётся одно на один с тьмой.

В Сибири они остановились в маленькой деревне, название которой никто не мог выговорить с первого раза, и местные жители, узнав императора, упали на колени прямо в грязь, прямо в осеннюю слякоть, прямо в ту самую жижу, которая была здесь вместо земли.

— Батюшка, — плакала старая женщина, целуя руки Рюрика, — мы ждали вас. Мы верили, что вы вернётесь, что вы не бросите нас, что вы спасёте нас от этих, от проклятых, от тех, кто пришёл с войной.

— Встаньте, — сказал император, поднимая её за плечи. — Не нужно кланяться. Мы все теперь на равных. Мы все теперь солдаты. Мы все теперь защитники.

Филатов, глядя на это, чувствовал, как тепло, которое он считал утраченным, снова разливается по груди, заполняя ту пустоту, которая была там все эти годы, все эти месяцы, все эти дни, когда он видел предательство, видел ложь, видел, как рушится то, что они строили.

«Вот она, Россия, — думал он. — Не та, что в дворцах и парламентах, не та, что в газетах и телевизорах, а та, что в глухих деревнях, где люди не знают, что такое политика, но знают,

что такое честь, где дети не играют в игрушки, а работают в поле, где старики не сидят на скамейках, а молятся за царя, где женщины не красятся, а растируют хлеб».

В тот же день они начали строить оборону. Белов, который всю дорогу молчал, как партизан, как человек, который знает, что слова сейчас не нужны, а нужны дела, теперь командовал «тенями», и они рыли окопы, устанавливали минные поля, готовили засады, строили блиндажи, таскали мешки с песком, чистили оружие, заряжали магазины, делали всё, чтобы встретить врага во всеоружии, когда он придёт, а он придёт, это было ясно, как день, ясно, как то, что завтра взойдёт солнце.

Филатов ездил по окрестностям, искал союзников, договаривался с лесниками, охотниками, староверами, которые жили в тайге и не признавали никакой власти, кроме Божьей и царской, кроме тех, кто дышал с ними одним воздухом, кто пил с ними из одного колодца, кто молился с ними одному Богу.

— Фёдор Александрович, — сказал один из них, старый, с бородой до пояса, с руками, которые помнили ещё Гражданскую войну, а может, и более ранние смуты, — мы с вами. Царь для нас — отец. А врага мы встретим, как положено. С топорами, с вилами, с чем есть. Но встретим.

— Спасибо, — ответил Филатов. — Бог в помощь.

Он вернулся в деревню, где император Рюрик сидел на крыльце избы и смотрел на запад, туда, откуда, по слухам, уже двигались вражеские колонны, туда, где за лесами, за реками, за горами, лежала его столица, его дом, его мечта, которую предатели превратили в прах.

— Князь, — сказал Филатов, садясь рядом, — люди готовы. Они будут драться. Даже если это будет их последний бой.

— Я знаю, — ответил император. — Я знаю.

Они помолчали, глядя на закат, который окрасил небо в багровые тона, и Филатов подумал: «Кровь. Это будет кровь».

Но враг не ждал. Уже на следующий день разведка донесла: авангард азиатской армии пересёк границу и движется к их позициям. Тысячи танков, тысячи бронетранспортёров, десятки тысяч солдат — всё это шло на них, и у них было только сорок «теней», несколько десятков ополченцев с охотничьими ружьями и бескрайняя, суровая Сибирь, которая, как надеялся Филатов, станет их союзником.

— Князь, — сказал он, — нам нужно уходить. Мы не выдержим прямой атаки.

— Нет, — ответил император. — Мы будем держаться. Мы будем драться. Мы будем умирать, но не отступать.

Филатов хотел возразить, но передумал. Он знал: когда царь принимает решение, спорить бесполезно.

Он встал, подошёл к окопу, где Белов командовал последними приготовлениями, и сказал:

— Братцы, сегодня, возможно, наш последний день. Но мы встретим его так, как подобает русским солдатам. С оружием в руках, с именем царя на устах и с Богом в душе.

Солдаты молчали, но в их глазах горел тот самый огонь, который Филатов видел много раз, и он знал — они не сдадутся.

Первый удар врага пришёлся на позиции «теней» в пять утра, когда солнце ещё не встало, и тайга, окутанная предрассветным туманом, казалась бездонной, бесконечной чёрной пропастью, в которой исчезали все звуки, все крики, все выстрелы. Филатов сидел в окопе, прислонившись спиной к мёрзлой стенке, и смотрел на восток, откуда, по данным разведки, должна была прийти атака. Рядом, положив голову на колени, спал маленький царь Кирилл, и старый полковник, глядя на него, чувствовал, как внутри, под коркой многолетней усталости, шевелится тот самый страх, который он привык давить в себе ещё в кадетском корпусе, когда впервые взял в руки оружие и понял, что от него зависят жизни других людей.

Первый снаряд разорвался в сотне метров от их позиций, и земля, вздрогнув, как живая, содрогнулась под ногами. Филатов подхватил царя на руки, прижал к груди и, не дожидаясь команды, побежал к бункеру, где уже укрылись император Рюрик и Белов. Взрывы гремели один за другим, и в этом грохоте, в этом хаосе, в этой бесконечной, оглушающей какофонии, было что-то первобытное, что-то такое, от чего даже старые, выдавшие виды солдаты холодели внутри, а у молодых тряслись колени, и только вера в царя и Бога помогала не сойти с ума, не побежать, не бросить всё и не спрятаться в самую глубокую, самую тёмную, самую надёжную нору, где нет войны, где нет смерти, где нет этих выстрелов, этих взрывов, этих криков, которые, казалось, никогда не кончатся.

Снаряды рвались всё ближе, и Филатов, пригибаясь, перебежал от воронки к воронке, чувствуя, как осколки свистят над головой, как земля сыплется на плечи, как время, которое когда-то было его союзником, теперь стало врагом, и каждая секунда, каждая доля секунды могла стать последней, могла оборвать эту жизнь, эту войну, эту надежду, которую он нёс в себе столько лет.

Он добежал до бункера, упал на колени, передал царя императору, который тут же прижал мальчика к груди, и, выдохнув, сказал:

— Князь, это не разведка. Это начало наступления. Они бросили на нас все силы. Надо отступать.

— Нет, — ответил император, и в голосе его, несмотря на трясущиеся руки и побледневшее лицо, звучала та самая сталь, которую Филатов знал по молодости. — Мы будем держаться. Мы будем драться. Мы не отступим ни на шаг.

— Князь, — сказал Филатов, — если мы останемся, мы погибнем. А если погибнем, то кто будет защищать Россию? Кто будет поднимать её после войны?

— Ты предлагаешь бежать? — спросил император, и в голосе его прозвучало нечто похожее на обиду, на гнев, на то самое, детское, мальчишеское, что когда-то, давно, в Линне, он кричал Филатову: «Ты не имеешь права!».

— Я предлагаю отступить, — сказал Филатов. — Отступление — это не бегство. Это маневр. Это возможность сохранить силы для решающего удара.

Император молчал долго — минуту, две, пять, — и в этой тишине, нарушаемой только разрывами снарядов, которые становились всё ближе, всё страшнее, всё безысходнее, Филатов видел, как внутри царя происходит борьба — там, где сталкиваются гордость и разум, честь и долг, желание умереть героем и необходимость жить ради будущего.

— Хорошо, — сказал наконец император. — Мы отступаем. Но недалеко. И мы вернёмся.

Филатов кивнул и, выйдя из бункера, скомандовал отступление.

Они отходили три дня, оставляя врагу выжженную землю, заминированные поля, засады, которые «тени» устраивали в лесах на каждой удобной поляне, на каждой просеке, на каждой дороге, где можно было задержать врага хотя бы на час, на минуту, на секунду. Потери были ужасны. Из сорока «теней» осталось двадцать. Из ополченцев, которых собрали по деревням, — вообще мало кто выжил. Но враг тоже нёс потери, и это было главное — не дать ему расслабиться, не дать ему почувствовать, что победа уже близка, что Россия у него в руках, что можно остановиться и передохнуть.

На третий день они вышли к Енисею. Вода в реке была чёрной, тяжёлой, и Филатов, глядя на неё, вспомнил, как когда-то, много лет назад, он переходил эту реку с войсками, которые шли на запад, на Берлин, на победу. Теперь он шёл на восток, в отступление, в неизвестность, и это отступление казалось ему страшнее любой атаки, потому что в атаке ты знаешь, куда идёшь, а здесь — только вперёд, в тайгу, в холод, в темноту, в никуда.

Император стоял на берегу, держа за руку маленького царя Кирилла, и смотрел на запад, туда, где за горизонтом дымились пожары, где горели его города, его деревни, его страна.

— Мы вернёмся, — сказал он, не оборачиваясь.

— Вернёмся, — ответил Филатов.

Они переправились на другой берег, и Филатов, оглянувшись, в последний раз посмотрел на то место, где ещё недавно была деревня, где ещё недавно жили люди, где ещё недавно пахло хлебом и молоком. Теперь там были только дым, пепел и тишина.

— Князь, — сказал он, — это не конец. Это начало. Начало священной войны, которую мы будем вести до последнего вздоха, до последней капли крови, до последнего патрона.

Император кивнул.

Они ушли в тайгу.

А на западе, за Енисеем, враг, чувствуя свою силу, уже готовился к новому броску.

Конец первой главы.

глава2(отсупление и священная отечественная война)

Они шли тайгой ещё две недели, и эти две недели стали для Филатова самым тяжёлым испытанием в его жизни — тяжелее, чем окопы под Вязьмой, тяжелее, чем девятиэтажка в Норвегии, тяжелее, чем все войны, которые он пережил.

Не потому, что они голодали (хотя голодали), не потому, что мёрзли (хотя мёрзли), а потому, что впервые за долгие годы он чувствовал себя беспомощным, как тот мальчик, который когда-то, в далёком детстве, сидел в подвале и слушал выстрелы, боясь выйти наружу. Император Рюрик, который привык к дворцам, к советам, к армиям, теперь шёл рядом с простыми солдатами, нёс свою ношу, делил с ними последний кусок хлеба, и это сближало их всех — и Филатова, и Белова, и «теней», и ополченцев — в одно целое, в единый организм, который двигался на восток, спасаясь от врага, но не бежал, а отступал, сохраняя силы для решающего удара.

Однажды вечером, когда они остановились на ночлег в заброшенной избушке лесника, Филатов сидел у потрескивающего огня, глядя на танцующие языки пламени, и думал о том, что эта война, которую они начали — не по своей воле, а по необходимости, — станет последней. Не потому, что они победят (хотя они должны были победить), а потому, что после неё не останется ничего, что можно было бы назвать победой. Будут только руины, пепел и память — память о тех, кто не вернулся, о тех, кто сгорел, о тех, кто замёрз, о тех, кто утонул, переходя через бесчисленные реки, которые вставали на их пути, как стена, как стена, которую невозможно преодолеть без потерь.

Император сидел рядом, и Филатов видел, что он тоже думает о том же, но молчит, потому что слова сейчас — это лишнее, потому что слова не накормят, не согреют, не защитят.

Поздно ночью, когда все уснули, Филатов выскользнул на крыльцо, достал дневник — тот самый, который вёл много лет, — и, достав огрызок карандаша, написал:

«Октябрь 2066. Тайга. Мы отступаем. Враг силён. Но мы не сдаёмся. Император держится. Кирилл плачет по ночам, зовёт маму. Я рассказываю ему сказки. Однажды, может быть, он расскажет их своим детям. А я, может быть, услышу».

Он закрыл дневник, спрятал за пазуху.

Наутро они снова двинулись в путь — на восток, в неизвестность, в тайгу, в холод, в темноту.

Враг шёл за ними по пятам.

Они шли тайгой уже третью неделю. Октябрь перевалил за середину, и в лесах, которые ещё недавно стояли в золоте и багрянце, теперь господствовали серые, мрачные тона — листья облетели, кусты потемнели, и только кое-где, на редких полянах, ещё виднелись островки зелёного мха, напоминавшего о том, что жизнь здесь была когда-то и, может быть, вернётся, когда уйдут войны, когда растает снег, когда отступят холода. Филатов шёл впереди колонны, опираясь на палку, которую вырезал себе из берёзы, и чувствовал, как старые раны, полученные

ещё в ту войну, в молодости, напоминали о себе тупой, ноющей болью, от которой не спасали ни бинты, ни мази, ни даже крепкий чай, который Белов заваривал по вечерам из сушёных трав, собранных в Сибири.

Император Рюрик, измождённый, с глубокими тенями под глазами, нёс на руках маленького царя Кирилла, который уже не плакал, а просто молчал, глядя на проплывающие мимо деревья, и этот взгляд — детский, но уже не по-детски серьёзный — заставлял сердце Филатова сжиматься каждый раз, когда он оглядывался на них.

На привале, когда колонна остановилась у небольшого ручья, чтобы наполнить фляги и дать отдых ногам, Белов, который командовал «тенями» и почти не спал, подошёл к Филатову и, тяжело дыша, сказал:

— Фёдор Александрович, разведка вернулась. Плохие новости.

— Говори, — ответил Филатов, не поднимая головы.

— В деревнях, которые занял враг, творятся страшные вещи. Офицеры коалиции живут в лучших домах, отбирают у людей скот, зерно, одежду. Женщин... — Белов запнулся, но взял себя в руки. — Женщин насилуют.

Мужчин угоняют в рабство. Стариков и детей убивают за неповиновение.

Филатов поднял голову. Глаза его, тусклые от усталости, вдруг вспыхнули тем самым огнём, который Белов знал по войне — не яростью, нет, ярость была для молодых, а холодной, тяжёлой решимостью, которая не знает пощады.

— Рабов, — повторил он. — Они хотят сделать из русских рабов.

— Так точно, — ответил Белов.

Император Рюрик, который стоял рядом и слышал этот разговор, подошёл ближе.

— Федя, — сказал он, — это не просто война. Это война на уничтожение. Они не хотят победить нас — они хотят стереть нас с лица земли.

— Знаю, князь, — ответил Филатов, вставая. — И поэтому мы не имеем права проиграть. Потому что если мы проиграем, то не останется ничего. Ни России, ни русских, ни памяти о нас.

Он отошёл в сторону, достал дневник и, достав огрызок карандаша, написал несколько строк.

«Октябрь 2066. Враг творит зверства. Наши люди в рабстве. Мы должны вернуться. Мы должны освободить их. Это священная война. Боже, дай нам сил».

Вечером, когда колонна остановилась на ночлег, Филатов собрал всех — «теней», ополченцев, даже несколько старушек и детей, которые прибились к ним по дороге, спасаясь от огня и меча.

— Братцы, — сказал он, — вы знаете, что происходит там, куда пришли враги? Они грабят наши дома, насилуют наших женщин, убивают наших детей.

Они хотят сделать нас рабами. Но Россия никогда не была страной рабов. Россия была страной свободных людей. И мы не позволим им отнять у нас эту свободу.

— Не позволим! — закричали ополченцы, и Филатов, глядя на их лица, на которых застыли и усталость, и гнев, и надежда, почувствовал, что они готовы идти за ним до конца.

— Сегодня мы отдыхаем, — сказал он. — Завтра — продолжаем отступление. Но мы вернёмся. Я обещаю. Клянусь Богом, клянусь царем, клянусь ремнём на моей руке.

Он поднял левую руку, на которой был намотан старый, потёртый ремень, и все замолчали, глядя на этот символ, который знали так же хорошо, как и свои имена.

— Мы вернёмся, — повторил император Рюрик, и голос его, хриплый, но твёрдый, разнёсся по поляне. — И тогда враг заплатит за каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждую разрушенную жизнь.

Ночью, когда все уснули, Филатов долго сидел у костра, глядя на огонь, и думал о том, что эта война станет последней. Не потому, что они победят, а потому, что после неё не останется ничего, что можно было бы назвать жизнью.

— Боже, — прошептал он. — Спаси Россию. Спаси царя. Спаси нас всех.

Утром они снова двинулись на восток, в тайгу, в холод, в темноту, оставляя за собой дым пожарищ, которые враг заливал кровью.

Они шли на восток уже четвертую неделю, и тайга, которая вначале казалась бесконечной, теперь превратилась в безысходную, выматывающую петлю, из которой не было выхода, не было спасения, не было надежды, а была только грязь под ногами, холодный ветер, пронизывающий до костей, и тот далекий, едва уловимый шум, который доносился с запада — шум, который Филатов знал слишком хорошо, чтобы обманываться: это шла война, она дышала в спину, она настигала, она была здесь, рядом, за поворотом, за следующим холмом, за той самой, бесконечной чередой деревьев, которые, казалось, насмехались над ними, над их медлительностью, над их усталостью, над их надеждой, которая таяла с каждым днем, как снег под весенним солнцем, но не весенним, а осенним, когда тепла уже не будет, когда зима придет скоро и накроет все своим белым, холодным саваном, похоронив под собой и живых, и мертвых, и тех, кто еще надеялся выжить.

Император Рюрик шел теперь не впереди, не в середине колонны, а где-то в хвосте, поддерживая тех, кто выбивался из сил, кто падал, кто уже не мог идти, и это было не слабостью, а мудростью, потому что царь, который думает только о себе, не царь, а тиран, а тираны, как известно, долго не живут, особенно когда вокруг война, когда враг наступает, а свои предают, и только вера в Бога и любовь к народу помогает держаться на плаву, не утонуть в этом море грязи, крови и отчаяния.

Белов, который командовал «теньями», почти не спал — он сидел на коне, сжимая в руке автомат, и смотрел на восток, на запад, на север, на юг, везде ища врага, который, как он знал, не мог быть далеко, потому что его разведчики доносили: авангард азиатской армии уже пере-

правился через Енисей и теперь двигался параллельно их маршруту, намереваясь отрезать им путь к отступлению, окружить, взять в клещи, уничтожить, и у них, у русских, было только одно преимущество — тайга, которую они знали, как свои пять пальцев, и холод, которого враг боялся, но который, как назло, все не наступал, задерживался, будто тоже ждал чего-то, будто тоже хотел посмотреть, чем кончится эта битва, чем кончится эта война, чем кончится эта жизнь.

Филатов шел впереди, и ноги его, старые, израненные, ныли так, что каждый шаг давался с трудом, но он не жаловался — не потому, что боялся показаться слабым, а потому, что жаловаться было некому, да и незачем, потому что жалобы не лечат, не греют, не спасают, а только отнимают силы, которых и так почти не осталось. Он думал о том, что когда-то, много лет назад, он вел этот же отряд, но тогда они шли на запад, на Берлин, на победу, и каждый шаг приближал их к цели, а теперь каждый шаг приближал их к неизвестности, и неизвестность эта была страшнее любого врага, потому что врага можно убить, а неизвестность — нельзя, она всегда остается с тобой, шепчет на ухо, шевелится в темноте, напоминает о том, что завтра, возможно, не наступит, и тогда все, что ты делал, все, что ты строил, все, что ты любил, — все это исчезнет, как не бывало, и никто не вспомнит твоего имени, никто не скажет спасибо, никто не поставит свечу на могиле, потому что могилы тоже не будет, будет только тайга, холодная, равнодушная, вечная.

В середине дня они остановились у небольшого ручья, чтобы напоить лошадей и дать отдых людям. Император Рюрик, опустившись на колени, зачерпнул пригоршню воды, поднес к губам маленького царя Кирилла, который уже не плакал, но и не улыбался, а просто смотрел на отца своими черными, глубокими глазами, в которых, казалось, отражалась вся та боль, которую он видел за эти дни, вся та кровь, которую он видел, все те смерти, которые он видел — не по-детски, не по-человечески, а как-то позвериному, будто он уже понял, что этот мир не для того, чтобы в нем жить, а для того, чтобы в нем выживать, и выживают только сильные, только те, кто не сдастся, только те, кто идет до конца, даже когда конца не видно, даже когда конца нет и не будет.

— Князь, — сказал Филатов, подходя к императору и присаживаясь рядом на корточки, — разведка донесла: враг в двух днях пути. Если мы не ускоримся, они настигнут нас.

— Не настигнут, — ответил император, и в голосе его прозвучала та самая уверенность, которую Филатов слышал в нем много раз, начиная с того самого дня, когда они вместе бежали из окопов под Питером, и он, шестнадцатилетний мальчишка, учил Рюрика не закрывать глаза перед выстрелом, не бояться смерти, не бояться боли, не бояться того, что завтра может не наступить. — Мы уйдем. Мы всегда уходили.

— А если не уйдем? — спросил Филатов, и в голосе его прозвучала та самая, давно знакомая ирония, которую он позволял себе только с самыми близкими.

— Тогда будем драться, — сказал император. — И умрем с честью. Как русские.

Филатов хотел возразить, но передумал.

Он встал, подошел к Белову, который стоял у дерева и смотрел в планшет, пытаясь поймать связь.

— Есть новости? — спросил Филатов.

— Плохие, — ответил Белов, поднимая голову. — Парламент официально объявил о переходе на сторону коалиции. Они подписали капитуляцию. Россия — оккупирована.

Филатов почувствовал, как внутри, где-то глубоко, в том месте, где, наверное, жила душа, если она вообще была, что-то оборвалось, и стало пусто, и холодно, и страшно, но не за себя — за тех, кто остался там, в городах, в деревнях, в этих проклятых домах, где враги теперь хозяйничали, как у себя дома, делая русских рабами, убивая, насилуя, грабя.

— Князь, — сказал он, подходя к императору, — парламент подписал капитуляцию. Россия оккупирована. Мы — единственная свободная армия.

Император побледнел, но удержался на ногах, не покачнулся, не упал, не заплакал, только сжал кулаки так, что побелели костяшки, и тихо, так, чтобы никто, кроме Филатова, не услышал, произнес:

— Они ответят. Клянусь Богом, клянусь отцом, клянусь тобой, Федя, они ответят.

— Ответят, — согласился Филатов.

Вечером, когда колонна остановилась на ночлег, Филатов собрал всех — «теней», ополченцев, несколько женщин и детей, которые прибились к ним по дороге, — и сказал:

— Братцы, вы знаете, что случилось. Парламент предал нас. Подписал капитуляцию. Россия — оккупирована. Но мы не сдаемся. Мы будем драться. Мы будем защищать свою землю. Мы будем защищать своих детей. Мы будем защищать свою веру. Это священная война. Война за право жить. Война за право быть русскими.

— Драться! — крикнул кто-то.

— Драться! — подхватили другие.

И Филатов, глядя на них, на их лица, на их глаза, на их руки, сжимавшие оружие, понял, что они готовы идти до конца.

Ночью, когда все уснули, он достал дневник и написал:

«Октябрь 2066. Россия оккупирована. Парламент предал. Мы идем на восток. Там, за горами, может быть, спасение. Может быть, нет. Но мы идем. И мы вернемся. Клянусь богом ,прости матушка Россия».

Он закрыл дневник, спрятал за пазуху.

Утром они снова двинулись в путь.

Отступление затягивалось. Тайга, которая поначалу казалась бесконечной, но спасительной, теперь превратилась в ловушку — не столько для них, сколько для их надежды, которая с каждым днём таяла, как тот самый снег, который ещё не выпал, но уже чувствовался в воздухе

— сырой, колючий, обещающий скорую зиму, а зима в Сибири, как известно, не щадит ни своих, ни чужих. Филатов шёл во главе колонны, и мысли его, тяжелые, как намокшая шинель, ворочались в голове, ища выход, ища спасение, ища ту самую, единственную возможность, которая позволит им не просто выжить, но и победить, когда кажется, что победа уже невозможна, что враг слишком силён, что мир, который они строили столько лет, рухнул и не поднимется никогда.

Но он знал: сдаваться нельзя. Потому что если он сдастся, то сдадутся и те, кто идёт за ним, кто верит в него, кто надеется на него. А вера — это то, что остаётся, когда всё остальное уже потеряно.

Император Рюрик шёл рядом, держа за руку маленького царя Кирилла, который уже не плакал, а просто молчал, глядя на проплывающие мимо деревья, и в этом взгляде, детском, но уже не по-детски серьёзном, было что-то такое, от чего Филатову становилось не по себе — не страшно, нет, страха он давно не испытывал, а тревожно, будто он видел в этих глазах не просто ребёнка, а будущее, и будущее это было тёмным, кровавым, почти безнадежным.

— Князь, — сказал Филатов, когда они остановились на привал, — у меня есть план.

— Какой? — спросил император, присаживаясь на поваленное дерево и вытирая пот со лба, хотя было холодно, но от напряжения и страха, которые он скрывал даже от самых близких, на лбу проступала испарина.

— Мы не можем продолжать отступление бесконечно. Враг рано или поздно нас нагонит. Но у нас есть преимущество — мы знаем эту землю, мы знаем этих людей, мы знаем, кто готов драться, а кто готов предать. Мы должны не бежать, а собирать армию.

— Армию? — переспросил император, и в голосе его прозвучало сомнение — не в Филатове, а в возможности этого, в реальности этого, в том, что из этого что-то выйдет. — У нас нет ни оружия, ни людей, ни времени.

— Время у нас есть, — твёрдо сказал Филатов. — Враг ещё не пересёк Енисей. У нас есть неделя, может быть, две. За это время мы можем объехать окрестные деревни, собрать ополчение, найти союзников. Староверы, казаки, лесники — они не любят власть, но они любят Россию. И они ненавидят врага. Этого достаточно.

Император задумался. Он смотрел на Филатова, на его усталое, но решительное лицо, на его руки, сжимавшие старый ремень, на его глаза, в которых горел тот самый огонь, который он знал с юности, и в этом огне было что-то такое, от чего даже в самые тёмные времена становилось светлее.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Делай.

Филатов не стал ждать. Он разделил отряд на несколько групп — одну оставил с императором и царем, а сам, взяв с собой Белова и десяток «теней», отправился на поиски союзников.

Первая деревня, куда они приехали, встретила их тишиной — не той, мирной, уютной, а той, давящей, которая бывает перед бедой, когда люди прячутся по домам, не выходят на улицу, не отвечают на стук, и только старый, седой дед, сидевший на завалинке, посмотрел на Филатова и сказал:

— Уходи, сынок. Нечего тебе здесь делать. Красные придут — убьют.

— Не красные, — ответил Филатов, подходя ближе. — Враги. Те, кто хочет сделать русских рабами. Ты готов стать рабом, отец?

Дед посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом, потом сплюнул и сказал:

— Кто же хочет быть рабом? Но что мы можем? У нас ни оружия, ни силы.

— А вера? — спросил Филатов. — Вера есть? Бог в душе есть? Царь в сердце есть?

Дед молчал долго — минуту, две, пять, — а потом встал, опираясь на клюку, и сказал:

— Есть. Всё есть. Только толку?

— Толк будет, — твёрдо сказал Филатов. — Собирай людей. Мы будем драться.

К вечеру в деревне собралось около сотни мужиков — молодых и старых, вооружённых кто чем — винтовками, охотничьими ружьями, топорами, вилами. Филатов, глядя на них, чувствовал, как надежда, та самая, которую он считал почти утерянной, снова загорается в груди, и это тепло, слабое, но живое, согревало лучше любого костра.

— Братцы, — сказал он, — вы знаете, что происходит. Враг идёт на нашу землю. Он хочет сделать нас рабами. Он хочет убить наших детей, надругаться над нашими жёнами, сжечь наши дома. Но мы не сдадимся. Мы будем драться. Мы будем защищать свою землю. Потому что это не просто земля — это наша Родина. Это наша вера. Это наша жизнь.

— Драться! — крикнул кто-то.

— Драться! — подхватили другие.

И Филатов, глядя на них, понял, что они готовы идти до конца.

Так, день за днём, деревня за деревней, они собирали армию. К ним присоединялись казаки из Забайкалья, староверы из тайги, лесники, охотники, даже бывшие заключённые, которые предпочли смерть в бою смерти в лагере. К концу второй недели у них было уже около пяти тысяч человек — не армия, но сила, с которой можно было драться, сила, с которой можно было умирать, сила, с которой можно было побеждать.

Император Рюрик, глядя на это разношёрстное, плохо вооружённое, но горящее ненавистью к врагу войско, сказал Филатову:

— Ты сделал невозможное, Федя. Ты собрал армию из ничего.

— Не из ничего, — ответил Филатов. — Из веры. Из веры в Бога, в царя, в Россию.

— И этого достаточно? — спросил император.

— Этого достаточно, — твёрдо сказал Филатов.

Но он знал, что этого недостаточно. Что враг силён, что враг многочислен, что у врага есть танки, самолёты, артиллерия, а у них — только вера и надежда. И эта вера и надежда, как бы сильно они ни были, могли сгореть в одно мгновение, сгореть в огне войны, в огне смерти, в огне того самого апокалипсиса, который уже начался, но которого они ещё не осознали.

Ночью, когда все уснули, Филатов сидел у костра, глядя на огонь, и думал о том, что эта война станет последней. Не потому, что они победят, а потому, что после неё не останется ничего, что можно было бы назвать жизнью.

— Боже, — прошептал он, — спаси Россию. Спаси царя. Спаси нас всех.

Утром они снова двинулись на восток — не отступая, а идя вперёд, навстречу врагу, навстречу судьбе, навстречу той самой, последней битве, которая должна была решить всё.

Сбор армии, который начался как робкая, почти безнадежная попытка выкроить крупицы надежды из той пустоты, что образовалась вокруг после предательства парламента и капитуляции России, теперь обрёл ту самую, почти неуловимую динамику, когда каждый новый день приносил не только усталость, но и маленькую, едва заметную победу — десяток-другой добровольцев, ящик с патронами, найденный в заброшенном складе, старого охотника, знавшего тайные тропы через болота, которые враг боялся как огня. Филатов объезжал деревню за деревней, и каждое такое путешествие было испытанием — не столько для его старого, израненного тела, сколько для души, которая, казалось, уже привыкла к боли, к потерям, к предательству, но каждый раз, когда он видел в глазах людей тот самый, первобытный страх перед неизвестностью, он чувствовал, как что-то внутри него переворачивается и заставляет идти дальше, говорить, убеждать, просить, требовать.

В одной из деревень, затерянной среди бескрайних сибирских лесов, где даже дороги, если их можно было так назвать, превращались в непролазную грязь после первого же дождя, он встретил старовера. Тот сидел на крыльце своей избы, перебирая чётки, и, казалось, не замечал ни Филатова, ни его людей, ни даже маленького **царя** Кирилла, который, устав от долгой дороги, дремал на руках у отца. Но когда Филатов заговорил, старик поднял голову, и в его глазах, мутных от старости, но всё ещё зорких, мелькнуло что-то похожее на понимание.

— Ты тот самый, — сказал он, не вопросом, а утверждением. — Филатов. Который спас **царя** тогда, в ту войну.

— Я, — ответил Филатов, не удивляясь — в Сибири, где время течёт иначе, где новости распространяются быстрее лесного пожара, его имя знали даже те, кто никогда не видел ни Петрограда, ни Зимнего дворца.

— А я ждал, — сказал старик, вставая и опираясь на клюку, вырезанную из корня старой сосны. — Ждал, когда ты придёшь. Когда скажешь: пора.

— Пора, — твёрдо сказал Филатов. — Враг идёт. Он хочет сделать русских рабами. Ты готов стать рабом?

— ****Боже**** упаси, — ответил старик и перекрестился широким, размашистым крестом, который, казалось, покрыл всю деревню, всё небо, всю эту бескрайнюю, суровую землю. — Я готов драться.

— Сколько у тебя людей? — спросил Филатов.

— Много, — ответил старик. — И старые, и молодые. И те, кто помнит ещё ту войну, и те, кто только родился. Все готовы. Ждали только знака.

— Вот вам знак, — сказал Филатов, доставая из-за пазухи маленький, потрёпанный штандарт — чёрно-сине-белый, с трёхглавым орлом, тот самый, который когда-то принадлежал его деду, а потом отцу, а потом ему. — Поднимайте. И идите за нами.

Старик взял штандарт, и руки его, старые, дрожащие, вдруг стали твёрдыми, как сталь, как тот самый ремень, который Филатов носил на левой руке.

— Пойдём, — сказал он. — Все пойдём.

За неделю к ним присоединились ещё несколько тысяч — казаки из Забайкалья, которые, услышав о предательстве парламента, бросили свои станицы и двинулись на запад, навстречу врагу; староверы из глухой тайги, которые не признавали никакой власти, кроме ****Божьей****, но признали ****царя****, потому что ****царь**** для них был не просто правителем, а символом той самой, древней, святой Руси, которую они хранили в своих сердцах, как зеницу ока; бывшие заключённые, которых выпустили из лагерей, чтобы они могли умереть с честью, а не гнить за колючей проволокой.

Белов, который теперь командовал не только «теньями», но и всем этим разношёрстным, плохо вооружённым, но горящим желанием драться войском, почти не спал — он проверял позиции, расставлял засады, учил ополченцев стрелять, копать окопы, пользоваться гранатами. Лицо его, израненное, в копоти, в грязи, в крови, стало таким же суровым, как у Филатова, и в этом сходстве, в этой общей усталости и общей решимости, было что-то такое, от чего у ****императора**** Рюрика, который смотрел на них со стороны, сжималось сердце.

Ты знаешь, — сказал он однажды Филатову, когда они остались вдвоём, — я иногда думаю: а что, если бы не ты? Что, если бы мы не встретились тогда, в окопах под Питером?

— Не думай, — ответил Филатов, глядя на запад, где за горизонтом, за лесами, за реками, копился враг, копилась ненависть, копилась смерть. — Думать — это лишнее. Надо делать.

— Ты всегда так говоришь, — усмехнулся ****император****.

— Потому что это правда, — сказал Филатов.

В середине ноября, когда земля уже начала промерзать, а по ночам температура опускалась до минус двадцати, они получили известие, которого боялись, но ждали: враг пересёк Енисей и двинулся на восток, к Байкалу, к Владивостоку, к Тихому океану, сметая всё на своём пути. У них было не больше двух недель, чтобы подготовиться к встрече.

— ****Князь****, — сказал Филатов, — нам нужно выбрать место для решающего сражения.

— Какое место? — спросил ****император****.

— Болота, — ответил Филатов. — Там, где враг не сможет использовать свою тяжёлую технику. Там, где каждый шаг будет стоить ему крови.

— А нам?

— А нам — жизни, — сказал Филатов. — Но мы к этому готовы.

Они выбрали болотистую местность в предгорьях Саян, где ещё недавно, до войны, охотники добывали пушнину, а теперь должны были решаться судьбы не только России, но и всего мира.

Белов, узнав о решении, приказал «теням» готовить оборону. Они рыли окопы, устанавливали минные поля, строили блиндажи, таскали мешки с песком, чистили оружие, заряжали магазины, делали всё, чтобы встретить врага во всеоружии, когда он придёт, а он придёт, это было ясно, как день, ясно, как то, что завтра взойдёт солнце — если, конечно, оно вообще ещё взойдёт когда-нибудь.

Филатов почти не спал — он объезжал позиции, проверял готовность, говорил с солдатами, с ополченцами, с казаками, с каждым, кто мог держать оружие. Он знал их по именам, по лицам, по голосам, и это знание, это ощущение, что они не просто солдаты, а братья, сыновья, отцы, делало его сильнее, но и уязвимее, потому что за каждого из них он теперь отвечал, и эта ответственность была тяжелее любого креста.

Однажды вечером, когда они сидели у костра, Белов сказал:

— Фёдор Александрович, я хочу, чтобы вы знали: если я погибну, то не жалейте. Я прожил хорошую жизнь. Я служил ****царю****, я служил России, я служил вам. Это больше, чем многие могут сказать.

Не говори глупостей, — ответил Филатов, хотя в душе знал: Белов прав. В этой войне никто не застрахован от смерти, даже он, даже ****император****, даже маленький ****царь**** Кирилл, который ещё не понимал, что происходит, но уже чувствовал, что грядёт что-то страшное, и тихо плакал по ночам, когда думал, что никто не слышит.

— Я не говорю глупости, — сказал Белов. — Я говорю правду. Мы все умрём. Вопрос только в том, когда и как.

— Тогда умрём с честью, — сказал Филатов. — Как русские.

Они помолчали, глядя на огонь.

На следующий день пришло известие, которое перевернуло всё: американцы, нарушая все международные договоры, применили газ — хлор и другие примеси — против мирных деревень, которые ещё не были эвакуированы. Тысячи людей погибли в страшных муках, задыхаясь, кашляя кровью, умирая на глазах у своих детей и жён.

****Император**** Рюрик, услышав об этом, побледнел, сжал кулаки так, что побелели костяшки, и сказал:

— Они ответят. ****Клянусь**** ****Богом****, ****клянусь**** отцом, ****клянусь**** тобой, Федя, они ответят.

— Ответят, — согласился Филатов.

Он знал, что теперь нет пути назад. Эта война стала войной на уничтожение. И они должны победить, или умереть.

Сбор армии, который начался как робкая, почти безнадежная попытка выкроить крупицы надежды из той пустоты, что образовалась вокруг после предательства парламента и капитуляции России, теперь обрёл ту самую, почти неуловимую динамику, когда каждый новый день приносил не только усталость, но и маленькую, едва заметную победу — десяток-другой добровольцев, ящик с патронами, найденный в заброшенном складе, старого охотника, знавшего тайные тропы через болота, которые враг боялся как огня. Филатов объезжал деревню за деревней, и каждое такое путешествие было испытанием — не столько для его старого, израненного тела, сколько для души, которая, казалось, уже привыкла к боли, к потерям, к предательству, но каждый раз, когда он видел в глазах людей тот самый, первобытный страх перед неизвестностью, он чувствовал, как что-то внутри него переворачивается и заставляет идти дальше, говорить, убеждать, просить, требовать.

В одной из деревень, затерянной среди бескрайних сибирских лесов, где даже дороги, если их можно было так назвать, превращались в непролазную грязь после первого же дождя, он встретил старовера. Тот сидел на крыльце своей избы, перебирая чётки, и, казалось, не замечал ни Филатова, ни его людей, ни даже маленького царя Кирилла, который, устав от долгой дороги, дремал на руках у отца. Но когда Филатов заговорил, старик поднял голову, и в его глазах, мутных от старости, но всё ещё зорких, мелькнуло что-то похожее на понимание.

Ты тот самый, — сказал он, не вопросом, а утверждением. — Филатов. Который спас царя тогда, в ту войну.

— Я, — ответил Филатов, не удивляясь — в Сибири, где время течёт иначе, где новости распространяются быстрее лесного пожара, его имя знали даже те, кто никогда не видел ни Петрограда, ни Зимнего дворца, ни даже портретов царей, которые висели в каждой избе, в каждой школе, в каждом присутственном месте, где ещё не успели побывать враги.

— А я ждал, — сказал старик, вставая и опираясь на клюку, вырезанную из корня старой сосны, которая, наверное, помнила ещё нашествие Наполеона, а может, и более ранние смуты, когда Русь собиралась по крохам, по зернышку, по капле крови. — Ждал, когда ты придёшь. Когда скажешь: пора.

— Пора, — твёрдо сказал Филатов. — Враг идёт. Он хочет сделать русских рабами. Ты готов стать рабом?

— Боже упаси, — ответил старик и перекрестился широким, размашистым крестом, который, казалось, покрыл всю деревню, всё небо, всю эту бескрайнюю, суровую землю, где даже ветер, казалось, молился по ночам, прося у Бога пощады для тех, кто ещё не родился, и

для тех, кто уже умирал, не успев прожить и дня. — Я готов драться. И сыновья мои готовы. И внуки. И правнуки, если до них дойдёт.

— Сколько у тебя людей? — спросил Филатов, оглядывая деревню, где из окон, из-за заборов, из дверей сараев выглядывали лица — усталые, измождённые, но не сломленные, не преданные, не забывшие, что такое честь и что такое долг.

— Много, — ответил старик, и в голосе его зазвучала та самая, вековая гордость, которая не позволяла русским сдаваться даже тогда, когда казалось, что всё кончено, даже тогда, когда враг был у ворот, а надежды не было и не предвиделось. — Сорок мужиков. И бабы тоже пойдут. И дети — подносить патроны, перевязывать раненых, готовить еду. Все пойдут. Все, кто может держать оружие.

— Оружия у нас пока мало, — сказал Филатов, и в голосе его прозвучала горечь, которую он не пытался скрыть, потому что скрывать было нечего, и потому что старик всё равно понял бы, даже если бы он промолчал. — Но будет. Клянусь Богом, клянусь царем, клянусь ремнём на моей руке, будет.

— А мы подождём, — сказал старик. — Мы умеем ждать.

Филатов уехал из той деревни с тяжёлым сердцем, но с лёгкой душой — потому что знал: там, за спиной, остались люди, которые не предадут, не сбегут, не сложат оружие, даже когда патроны кончатся и останутся только голые руки и голые сердца, полные ненависти к врагу и любви к Родине.

Так, день за днём, неделя за неделей, они собирали армию. Не ту, огромную, многомиллионную, о которой они мечтали в Петрограде, когда казалось, что Россия непобедима, а враг лишь досадная помеха на пути к вечной славе, а ту, маленькую, полупартизанскую, вооружённую кто чем, но готовую умирать за каждый клочок земли, за каждую берёзу, за каждую

деревню, которую они проезжали, собирая людей по крохам, по зёрнышку, по капле крови.

К ним присоединялись казаки из Забайкалья, которые, услышав о предательстве парламента, бросили свои станицы и двинулись на запад, навстречу врагу, навстречу смерти, навстречу той самой, последней битве, которая должна была решить всё. Казаки были суровыми людьми, привыкшими к холоду, к голоду, к тяготам походной жизни, и Филатов, глядя на них, чувствовал, как надежда, та самая, которую он считал почти утерянной, снова загорается в груди, и это тепло, слабое, но живое, согревало лучше любого костра.

— Фёдор Александрович, — сказал атаман, старый, седой, с лицом, изрезанным морщинами, как кора старого дуба, подъезжая к нему на коне, — мы с вами. Царь для нас — отец. А врага мы встретим, как положено. С пашками, с пиками, с чем есть. Но встретим.

— Спасибо, — ответил Филатов. — Бог в помощь.

К ним присоединялись староверы из глухой тайги, которые не признавали никакой власти, кроме Божьей, но признали царя, потому что царь для них был не просто правителем, а символом той самой, древней, святой Руси, которую они хранили в своих сердцах, как зеницу

ока, как последнюю надежду, как тот самый свет, который не гаснет даже в самую тёмную ночь. Староверы были молчаливыми, замкнутыми, но в их глазах, в их жестах, в их молитвах, которые они шептали перед каждым боем, чувствовалась такая сила, такая вера, что даже император Рюрик, который сомневался во многом, но никогда не сомневался в Боге, смотрел на них с уважением и благоговением.

К ним присоединялись бывшие заключённые, которых выпустили из лагерей, чтобы они могли умереть с честью, а не гнить за колючей проволокой, не ждать, когда враг придёт и освободит их, чтобы сделать рабами или убить на месте. Эти люди, сломленные, озлобленные, потерявшие всё, что можно было потерять, вдруг обрели смысл жизни — защищать ту страну, которая когда-то отвергла их, предала, забыла. И в этой их жертвенности, в этой их готовности умереть за Россию, было что-то такое, от чего Филатов становилось не по себе — не страшно, нет, страха он давно не испытывал, а тревожно, будто он видел в них не просто солдат, а будущее, и будущее это было кровавым, жестоким, почти безнадежным.

К концу второй недели у них было уже около пяти тысяч человек — не армия, но сила, с которой можно было драться, сила, с которой можно было умирать, сила, с которой можно было побеждать, если, конечно, победа вообще была возможна в этой войне, где враг превосходил их численностью в сотни раз, а техникой — в тысячи.

Император Рюрик, глядя на это разношерстное, плохо вооружённое, но горящее ненавистью к врагу войско, сказал Филатову:

— Ты сделал невозможное, Федя. Ты собрал армию из ничего.

— Не из ничего, — ответил Филатов, и в голосе его прозвучала та самая, многолетняя усталость, которую он редко показывал даже самым близким, но которая иногда прорывалась наружу, как вода из прорванной плотины. — Из веры. Из веры в Бога, в царя, в Россию. Из ненависти к врагу. Из желания жить. Из страха смерти. Всё это вместе — и есть армия.

— И этого достаточно? — спросил император, и в голосе его прозвучало сомнение — не в Филатове, а в реальности этого, в том, что это может сработать, в том, что они не умрут зря, в том, что их жертва не будет напрасной.

— Этого достаточно, — твёрдо сказал Филатов, хотя в душе знал, что этого недостаточно, что враг силён, что враг многочислен, что у врага есть танки, самолёты, артиллерия, а у них — только вера и надежда, и эта вера и надежда, как бы сильно они ни были, могли сгореть в одно мгновение, сгореть в огне войны, в огне смерти, в огне того самого апокалипсиса, который уже начался, но которого они ещё не осознали.

Они выбрали место для лагеря в предгорьях Саян, где болота и леса могли защитить их от вражеской авиации и тяжёлой техники. Белов, который теперь командовал не только «тенями», но и всем этим разношерстным, плохо вооружённым, но горящим желанием драться войском, почти не спал — он проверял позиции, расставлял засады, учил ополченцев стрелять, копать окопы, пользоваться гранатами, ориентироваться на местности, не паниковать под огнём, не бросать раненых, не сдаваться в плен.

Лицо его, израненное, в копоти, в грязи, в крови, стало таким же суровым, как у Филатова, и в этом сходстве, в этой общей усталости и общей решимости, было что-то такое, от чего у императора Рюрика, который смотрел на них со стороны, сжималось сердце.

— Ты знаешь, — сказал он однажды Филатову, когда они остались вдвоём, глядя на закат, который окрасил небо в багровые тона — в цвет крови, в цвет смерти, в цвет того самого, последнего боя, который уже маячил на горизонте, — я иногда думаю: а что, если бы не ты? Что, если бы мы не встретились тогда, в окопах под Питером?

— Не думай, — ответил Филатов, глядя на запад, где за горизонтом, за лесами, за реками, копился враг, копилась ненависть, копилась смерть. — Думать — это лишнее. Надо делать.

— Ты всегда так говоришь, — усмехнулся император.

— Потому что это правда, — сказал Филатов. — Война не терпит сомнений. Сомневаясь — умираешь. И не только ты. Те, кто за тобой.

— А если я ошибусь? — спросил император, и в голосе его прозвучала та самая, детская, почти мальчишеская неуверенность, которую Филатов слышал в нём много раз, начиная с того самого дня, когда они вместе бежали из окопов под Питером, и он, шестнадцатилетний мальчишка, учил Рюрика не закрывать глаза перед выстрелом, не бояться смерти, не бояться боли, не бояться того, что завтра может не наступить.

— Тогда я скажу тебе, — ответил Филатов. — Как всегда.

Они помолчали, глядя на закат.

Армия росла не по дням, а по часам, но росла не так, как растут грибы после дождя, и не так, как растут дети, которых кормят кашей и молоком, а так, как растёт трава сквозь асфальт — медленно, мучительно, пробиваясь сквозь бетон равнодушия, сквозь гранит страха, сквозь ту самую, непробиваемую стену отчаяния, которая, казалось, окружала эту землю со всех сторон, не давая ей дышать, не давая ей надеяться, не давая ей верить. Филатов объехал уже больше сотни деревень, и в каждой из них он видел одно и то же: люди хотели драться, но боялись. Боялись не смерти — смерти они не боялись, потому что смерть была рядом, смерть смотрела на них из каждого окопа, из каждой воронки, из каждого снаряда, который падал на их дома, на их поля, на их головы. Они боялись бессмысленности. Боялись, что их жертва окажется напрасной, что они умрут зря, что их дети, внуки, правнуки не узнают их имён, не вспомнят их подвигов, не поймут, зачем они умирали, когда можно было сдаться, поклониться врагу, пообещать, что больше не будут, что исправятся, что станут рабами, только бы их оставили в покое.

Но Филатов знал: рабами их не оставят. Враг пришёл не забирать, не грабить, не наказывать. Враг пришёл уничтожать. Уничтожать всё — и тех, кто сопротивляется, и тех, кто сдаётся, и тех, кто прячется, и тех, кто молится, и тех, кто проклинает. Враг пришёл стереть с лица земли саму память о России, о русских, о той самой, древней, святой Руси, которую они, может быть, не знали, не понимали, не ценили, но которая жила в них, в их крови, в их костях, в их дыхании, даже когда они не произносили этого слова вслух.

— Фёдор Александрович, — сказал Белов, когда они остановились на очередной привал, и лицо его, израненное, в копоты, в грязи, было таким же усталым, как и у Филатова, но в глазах его, в этих глазах, которые видели столько смерти, сколько не видел, наверное, никто из живущих, горел тот самый огонь, который не гаснет даже в самый тёмный час, — разведка донесла: враг пересёк Енисей. Они идут на восток. Их армия — миллионы. Танки, самолёты, артиллерия. А у нас...

— А у нас — то, что есть, — сказал Филатов, перебивая его, потому что он не хотел слышать о том, чего у них нет, о том, чего им не хватает, о том, что они обречены. — И этого достаточно. ****Клянусь**** ****Богом****, ****клянусь**** ****царем****, ****клянусь**** ремнём на моей руке — достаточно.

— Вы верите в это? — спросил Белов, и в голосе его прозвучало сомнение, которое он редко показывал, но которое иногда прорывалось наружу, как вода из прорванной плотины, и тогда Филатов видел в нём не просто командира, не просто солдата, не просто верного пса, а человека, который боялся, сомневался, надеялся, верил и не верил одновременно.

— Верю, — ответил Филатов. — Не потому, что я глупый или наивный. А потому, что если я не буду верить, то никто не будет. А если никто не будет верить, то мы проиграем. А мы не имеем права проиграть. Не имеем права. Понял?

— Понял, — сказал Белов, и сомнение в его глазах угадало, сменившись той самой, тяжёлой, холодной решимостью, которую Филатов знал по себе.

В середине ноября, когда земля уже начала промерзать, а по ночам температура опускалась до минус двадцати, и даже самые опытные охотники, которые привыкли к сибирским морозам, начинали ворчать, что зима в этом году будет лютой, Филатов решил, что пора остановиться и начать строить оборону. Место для лагеря выбрали в предгорьях Саян, где болота и леса могли защитить их от вражеской авиации и тяжёлой техники, где каждый шаг врага будет стоить ему крови, где каждый метр земли будет полит кровью и где победа будет принадлежать не тому, у кого больше танков, а тому, кто сможет продержаться дольше, кто сможет умереть, но не отступить, кто сможет проиграть, но не сдаться.

Белов приказал «теням» готовить оборону. Они рыли окопы, устанавливали минные поля, строили блиндажи, таскали мешки с песком, чистили оружие, заряжали магазины, делали всё, чтобы встретить врага во всеоружии, когда он придёт, а он придёт, это было ясно, как день, ясно, как то, что завтра взойдёт солнце — если, конечно, оно вообще ещё взойдёт когда-нибудь в этом проклятом краю, где даже небо, казалось, оплакивало тех, кто ещё не родился, и тех, кто уже умирал, не успев прожить и дня.

Филатов почти не спал — он объезжал позиции, проверял готовность, говорил с солдатами, с ополченцами, с казаками, с каждым, кто мог держать оружие. Он знал их по именам, по лицам, по голосам, и это знание, это ощущение, что они не просто солдаты, а братья, сыновья, отцы, делало его сильнее, но и уязвимее, потому что за каждого из них он теперь отвечал, и эта ответственность была тяжелее любого креста, тяжелее любого ремня, тяжелее любой войны, которую он пережил.

Однажды вечером, когда они сидели у костра, Белов сказал:

— Фёдор Александрович, я хочу, чтобы вы знали: если я погибну, то не жалейте. Я прожил хорошую жизнь. Я служил ****царю****, я служил России, я служил вам. Это больше, чем многие могут сказать.

— Не говори глупостей, — ответил Филатов, хотя в душе знал: Белов прав. В этой войне никто не застрахован от смерти, даже он, даже ****император****, даже маленький ****царь**** Кирилл, который ещё не понимал, что происходит, но уже чувствовал, что грядёт что-то страшное, и тихо плакал по ночам, когда думал, что никто не слышит.

— Я не говорю глупости, — сказал Белов, и в голосе его прозвучала та самая, давно знакомая Филатову твёрдость, которую он сам воспитывал в своих солдатах, и которая теперь, когда она была нужна, работала против него, заставляя его сердце сжиматься от боли, от страха, от отчаяния. — Я говорю правду. Мы все умрём. Вопрос только в том, когда и как.

— Тогда умрём с честью, — сказал Филатов. — Как русские.

— Как русские, — повторил Белов.

Они помолчали, глядя на огонь, который, казалось, танцевал в такт их мыслям, их страхам, их надеждам, которые, как этот огонь, могли погаснуть в любую минуту, если не подбросить дров, не подкинуть сил, не вспомнить, ради чего они здесь, ради чего они жили, ради чего они умирали.

На следующий день пришло известие, которое перевернуло всё: американцы, нарушая все международные договоры, все клятвы, все обещания, которые они давали и нарушали, не краснея, не стыдясь, не боясь наказания, применили газ — хлор и другие примеси, страшные, смертельные, которые убивали не мгновенно, а медленно, мучительно, заставляя человека задыхаться, кашлять кровью, видеть, как его лёгкие превращаются в кровавое месиво, и понимать, что смерть близка, что она уже здесь, что она внутри, что она не отпустит, не пощадит, не даст даже шанса попрощаться с теми, кого он любил.

Газ применили против мирных деревень, которые ещё не были эвакуированы, против женщин, которые не успели убежать, против детей, которые не понимали, что происходит, против стариков, которые уже не могли бежать, а только молились, молились ****Богу****, ****царю****, всем святым, чтобы смерть пришла быстрее, чтобы она не мучила, чтобы она просто забрала, и всё, и больше ничего.

****Император**** Рюрик, услышав об этом, побледнел, сжал кулаки так, что побелели костяшки, и сказал:

— Они ответят. ****Клянусь**** ****Богом****, ****клянусь**** отцом, ****клянусь**** тобой, Федя, они ответят. Каждый, кто приложил руку к этому зверству, умрёт. Умрёт медленно. Умрёт в муках. Умрёт так, как умирали эти люди — задыхаясь, кашляя кровью, проклиная тот день, когда они родились.

— Ответят, — согласился Филатов, и в голосе его прозвучала та самая, холодная, тяжёлая решимость, которая не знает пощады, не знает страха, не знает сомнений. — Но сначала мы должны выжить. Мы должны продержаться. Мы должны выиграть эту войну.

Он знал, что теперь нет пути назад. Эта война стала войной на уничтожение. И они должны победить, или умереть. Третьего не дано.

В ту ночь Филатов написал в дневнике:

«Ноябрь 2066. Сибирь, предгорья Саян. Армия собрана — почти десять тысяч человек. Не миллионы, но это те, кто готов умирать. Мы строим оборону. Белов командует, «тени» учат ополченцев. Я объезжаю позиции, говорю с людьми. Они верят. Они надеются. Они ждут. Я не имею права их подвести.

Враг применил газ против мирных деревень. Женщины, дети, старики — все, кто не успел уйти. Я видел фотографии. Не хочу описывать. Но я запомню. И они заплатят.

Завтра снова в путь. Ещё деревни, ещё люди, ещё надежда. Мы не сдадимся. Мы не проиграем».

Он закрыл дневник, спрятал за пазуху.

Утром они снова двинулись в путь.

Следующие две недели превратились в бесконечную череду переходов, встреч, уговоров, обещаний, которых Филатов не мог гарантировать, но давал, потому что иначе люди не шли, не верили, не надеялись, а если люди не верят, если люди не надеются, то армия не армия, а толпа, которая разбежится при первом же выстреле, при первом же взрыве, при первом же крике ужаса, который, как зараза, распространяется быстрее, чем пули, быстрее, чем снаряды, быстрее, чем сама смерть.

Император Рюрик, несмотря на уговоры Филатова оставаться в лагере и беречь себя для решающей битвы, настоял на том, чтобы лично участвовать в этих поездках, потому что, как он сказал, царь, который прячется за спинами солдат, не царь, а трус, а трусов не уважают даже враги, не говоря уже о своих. И Филатов, хотя и боялся за него, не стал спорить, потому что знал: император прав. Война — это не только пули и снаряды, это ещё и вера, и если царь не показывает народу, что он с ним, что он рядом, что он готов умереть, если надо, то народ перестает верить, а без веры нет победы.

Они ездили по деревням, и в каждой деревне их встречали по-разному. Где-то — с хлебом-солью, со слезами радости, с криками «Ура!», с молитвами, с надеждой, которая, казалось, уже угасла, но при виде царя вспыхнула с новой силой. Где-то — с недоверием, с подозрением, с вопросом: «А вы не предадите? А вы не сбежите, когда станет трудно? А вы не продадите нас, как те, в парламенте?». И тогда император Рюрик, глядя в глаза этим людям, отвечал:

— Клянусь Богом, клянусь отцом, клянусь своей жизнью — не предам, не сбегу, не продам. Умру, но не продам.

И люди верили. Не потому, что он был царем, а потому, что в его глазах, в его голосе, в его руках, которые сжимали край шинели так, что белели костяшки, они видели ту самую, неподдельную боль, ту самую, искреннюю любовь, которую невозможно подделать, невозможно сыграть, невозможно купить.

В одной из деревень, затерянной среди лесов и болот, где даже собаки, казалось, забыли, как лаять, а куры перестали нестись от страха, Филатов встретил своего старого знакомого

— казачьего полковника, с которым они вместе воевали ещё на Кавказе. Полковник был сед, сутул, и левая рука его висела плетью — напоминание о той самой, давней войне, которая, казалось, кончилась, но на самом деле никогда не кончалась, а просто затихала на время, чтобы потом вспыхнуть с новой силой.

— Фёдор Александрович, — сказал полковник, обнимая его здоровой рукой, — я знал, что ты придёшь. Знал, что не бросишь.

— Не бросил, — ответил Филатов. — И не брошу. Враг идёт. Нам нужны люди.

— Люди есть, — сказал полковник. — Казаки есть. Полторы тысячи сабель. Все готовы. Ждали только приказа.

— Приказ — драться, — сказал Филатов. — Драться до последнего.

— Драться до последнего, — повторил полковник.

В ту ночь к армии присоединились полторы тысячи казаков — суровых, бородатых, вооружённых шашками и винтовками, которые помнили ещё Гражданскую войну, а может, и более ранние смуты, когда Русь собиралась по крохам, по зёрнышку, по капле крови.

Так, день за днём, неделя за неделей, армия росла. К концу ноября у Филатова было уже около двадцати тысяч человек — не армия, но сила, с которой можно было драться, сила, с которой можно было умирать, сила, с которой можно было побеждать, если, конечно, победа вообще была возможна в этой войне, где враг превосходил их численностью в сотни раз, а техникой — в тысячи.

Император Рюрик, глядя на это разношёрстное, плохо вооружённое, но горящее ненавистью к врагу войско, сказал Филатову:

— Ты сделал невозможное, Федя. Ты собрал армию из ничего.

— Не из ничего, — ответил Филатов. — Из веры. Из веры в Бога, в царя, в Россию.

— И этого достаточно? — спросил император.

— Этого достаточно, — сказал Филатов.

В начале декабря враг подошёл к их позициям. Тысячи танков, тысячи самолётов, сотни тысяч солдат — всё это двигалось на них, на эту маленькую, полупартизанскую армию, которая засела в болотах, в лесах, в горах, и ждала, когда враг придёт, чтобы умереть или победить.

Белов, который командовал передовыми частями, передал:

— Фёдор Александрович, они начали наступление. Идут с трёх сторон. Артиллерия бьёт без остановки.

— Держитесь, — ответил Филатов. — Держитесь, сколько сможете. Мы подойдём.

— Постараемся, — сказал Белов.

Бой длился три дня. Три дня ада, три дня крови, три дня смерти. «Тени» дрались как львы, как бешеные звери, которые знают, что если они отступят, то за ними не будет ничего, кроме пустоты, кроме отчаяния, кроме конца. Они дрались в окопах, в лесу, на полянах, на дорогах, везде, где можно было задержать врага хотя бы на час, на минуту, на секунду. И они задерживали. Ценой своих жизней, ценой своей крови, ценой своего страдания, они задерживали.

Белов был везде — он командовал, стрелял, перевязывал раненых, тащил на себе убитых. Лицо его, израненное, в крови, в грязи, в копоти, было страшным, но прекрасным — прекрасным той страшной, военной красотой, которая заставляет сердце биться чаще, а глаза — плакать, даже когда не плакал никто.

На третий день, когда атака врага, наконец, захлебнулась, и наступило то самое, звенящее затишье, которое бывает перед бурей, Белов доложил:

— Мы выдержали. Они отступили.

— Потери? — спросил Филатов.

— Тяжёлые, — ответил Белов. — «Теней» осталось меньше половины. Ополченцев — ещё меньше. Но мы выдержали.

— Надолго ли? — спросил Филатов.

— Не знаю, — ответил Белов. — Но мы готовы.

— Готовы, — повторил Филатов.

Он знал, что это не конец. Это только начало. Начало конца.

Следующие две недели превратились в бесконечную череду переходов, встреч, уговоров, обещаний, которых Филатов не мог гарантировать, но давал, потому что иначе люди не шли, не верили, не надеялись, а если люди не верят, если люди не надеются, то армия не армия, а толпа, которая разбежится при первом же выстреле, при первом же взрыве, при первом же крике ужаса, который, как зараза, распространяется быстрее, чем пули, быстрее, чем снаряды, быстрее, чем сама смерть. Он сидел в промёрзшей, продуваемой всеми ветрами избе, которую местные называли «охотничьей», но которая больше походила на крепость — бревна в полметра толщиной, ставни с бойницами, печь, в которой можно было спрятать не только ребенка, но и взрослого, если пригнуться, — и смотрел на карту, разложенную на столе. На карте были отмечены деревни, поселки, города, где, по слухам, ещё можно было найти людей, не ушедших на запад, не сдавшихся врагу, не предавших Россию.

Император Рюрик, несмотря на уговоры Филатова оставаться в лагере и беречь себя для решающей битвы, настоял на том, чтобы лично участвовать в этих поездках, потому что, как он сказал, царь, который прячется за спинами солдат, не царь, а трус, а трусов не уважают даже враги, не говоря уже о своих. И Филатов, хотя и боялся за него, не стал спорить, потому что знал: император прав. Война — это не только пули и снаряды, это ещё и вера, и если царь

не показывает народу, что он с ним, что он рядом, что он готов умереть, если надо, то народ перестаёт верить, а без веры нет победы.

Они ехали на старых, выдавших виды грузовиках, которые чудом заводились в этот лютый холод, и Филатов, глядя на заснеженные поля, на чёрные, обгоревшие остовы домов, которые враг сжёт при отступлении, на редких, закутанных в рваные тулупы людей, которые выходили на дорогу, чтобы посмотреть на них, чувствовал, как тяжесть, которая давила на плечи все эти годы, становится всё тяжелее, всё невыносимее, всё страшнее. Он не боялся смерти — он боялся, что не успеет, не сможет, не сделает.

В первой деревне, куда они заехали, было пусто. Дома стояли с распахнутыми дверьми, ветер завывал в трубах, и только старый, седой дед, сидевший на завалинке, поднял голову, когда они подъехали, и сказал:

— Уходили. Все ушли. Кто на восток, кто на запад, кто в лес. Остались только старики да калеки.

— А ты почему не ушёл? — спросил император, спрыгивая с подножки и подходя к деду.

— А куда мне? — ответил дед, и в глазах его, мутных, выцветших, была такая тоска, такая безнадежность, что у Филатова сжалось сердце. — Восемьдесят лет. Ноги не ходят. Руки не слушаются. Одно могу — умереть. И то не быстро.

— Не надо умирать, — сказал император. — Надо жить. Ради тех, кто вернётся.

— Вернутся ли? — спросил дед.

— Вернутся, — твёрдо сказал император. — Клянусь Богом.

Они оставили деду немного хлеба, крупу, спички и поехали дальше.

Вторая деревня встретила их иначе. Здесь люди ещё не ушли — они собрались на площади, у старой, покосившейся церкви, и смотрели на царя с надеждой и страхом, и в глазах их, в этих глазах, которые видели столько смерти, столько горя, столько несправедливости, было что-то такое, от чего Филатов, старый, выдавший виды волк, чувствовал, как внутри, где-то глубоко, просыпается та самая, давно забытая боль, которую он называл «совестью».

— Батюшка, — сказала старая женщина, падая на колени прямо в снег, — спаси нас. Они убили моего мужа. Увели сына. Сожгли дом. А мы остались. Не знаем, что делать.

Император подошёл к ней, поднял за плечи и сказал:

— Вставай, мать. Не надо кланяться. Мы здесь, мы с вами. И мы не дадим вас в обиду.

— Клянёшься? — спросила она, и в глазах её было столько боли, столько отчаяния, столько надежды, что у Филатова сжалось сердце.

— Клянусь, — сказал император. — Клянусь Богом, клянусь отцом, клянусь своей жизнью.

Из той деревни они забрали почти всех мужчин, кто мог держать оружие, — молодых и старых, здоровых и раненых, вооружённых кто чем — винтовками, охотничьими ружьями, топорами, вилами.

— Фёдор Александрович, — сказал Белов, когда они погрузили очередную партию добровольцев в кузова грузовиков, — так мы никогда не наберём армию. Слишком мало людей. Слишком медленно.

— А у нас нет другого выхода, — ответил Филатов. — Будем брать тех, кто есть. И будем учить их воевать. На ходу.

— А если они не научатся? — Тогда умрут, — жёстко сказал Филатов. — Но умрут не зря. Потому что каждый убитый враг — это наша победа.

Белов хотел возразить, но передумал.

Они продолжали ездить по деревням, и с каждым днём армия росла. К ним присоединялись казаки из Забайкалья — полторы тысячи сабель, суровых, бородатых, вооружённых пашками и винтовками, которые помнили ещё Гражданскую войну, а может, и более ранние смуты, когда Русь собиралась по крохам, по зёрнышку, по капле крови.

— Фёдор Александрович, — сказал атаман, старый, седой, с лицом, изрезанным морщинами, как кора старого дуба, подъезжая к нему на коне, — мы с вами. Царь для нас — отец. А врага мы встретим, как положено. С пашками, с пиками, с чем есть. Но встретим.

— Спасибо, — ответил Филатов. — Бог в помощь.

К ним присоединялись староверы из глухой тайги, которые не признавали никакой власти, кроме Божьей, но признали царя, потому что царь для них был не просто правителем, а символом той самой, древней, священной Руси, которую они хранили в своих сердцах, как зеницу ока, как последнюю надежду, как тот самый свет, который не гаснет даже в самую тёмную ночь.

— Ты тот самый, — сказал старовер, выходя из леса и опираясь на клюку, вырезанную из корня старой сосны. — Филатов. Который спас царя тогда, в ту войну.

— Я, — ответил Филатов.

— А мы ждали, — сказал старовер. — Ждали, когда ты придёшь. Когда скажешь: пора.

— Пора, — сказал Филатов.

— Тогда мы с тобой, — сказал старовер.

И они пошли. Целыми семьями, с детьми, с жёнами, со стариками, которые не могли идти, но шли, потому что верили, потому что надеялись, потому что знали: если они не пойдут, то не останется ничего.

К концу ноября армия насчитывала уже около двадцати тысяч человек. Не армия, но сила, с которой можно было драться, сила, с которой можно было умирать, сила, с которой можно было побеждать, если, конечно, победа вообще была возможна в этой войне, где враг превосходил их численностью в сотни раз, а техникой — в тысячи.

Император Рюрик, глядя на это разношёрстное, плохо вооружённое, но горящее ненавистью к врагу войско, сказал Филатову:

— Ты сделал невозможное, Федя. Ты собрал армию из ничего.

— Не из ничего, — ответил Филатов. — Из веры. Из веры в Бога, в царя, в Россию.

— И этого достаточно? — спросил император.

— Этого достаточно, — сказал Филатов.

Но он знал, что этого недостаточно. Что враг силён, что враг многочислен, что у врага есть танки, самолёты, артиллерия, а у них — только вера и надежда, и эта вера и надежда, как бы сильно они ни были, могли сгореть в одно мгновение, сгореть в огне войны, в огне смерти, в огне того самого апокалипсиса, который уже начался, но которого они ещё не осознали.

В начале декабря враг подошёл к их позициям. Тысячи танков, тысячи самолётов, сотни тысяч солдат — всё это двигалось на них, на эту маленькую, полупартизанскую армию, которая засела в болотах, в лесах, в горах, и ждала, когда враг придёт, чтобы умереть или победить.

Белов, который командовал передовыми частями, передал по радиации:

— Фёдор Александрович, они начали наступление. Идут с трёх сторон. Артиллерия бьёт без остановки. У нас уже есть потери.

— Держитесь, — ответил Филатов. — Держитесь, сколько сможете. Мы подойдём.

— Постараемся, — сказал Белов.

Бой длился три дня. Три дня ада, три дня крови, три дня смерти. «Тени» дрались как львы, как бешеные звери, которые знают, что если они отступят, то за ними не будет ничего, кроме пустоты, кроме отчаяния, кроме конца. Они дрались в окопах, в лесу, на полянах, на дорогах, везде, где можно было задержать врага хотя бы на час, на минуту, на секунду.

И они задерживали. Ценой своих жизней, ценой своей крови, ценой своего страдания.

Белов был везде — он командовал, стрелял, перевязывал раненых, тащил на себе убитых. Лицо его, израненное, в крови, в грязи, в копоти, было страшным, но прекрасным — прекрасным той страшной, военной красотой, которая заставляет сердце биться чаще, а глаза — плакать, даже когда не плакал никто.

На третий день, когда атака врага, наконец, захлебнулась, и наступило то самое, звенящее затишье, которое бывает перед бурей, Белов доложил:

— Мы выдержали. Они отступили.

— Потери? — спросил Филатов.

— Тяжёлые, — ответил Белов. — «Теней» осталось меньше половины. Ополченцев — ещё меньше. Но мы выдержали.

— Надолго ли? — спросил Филатов.

— Не знаю, — ответил Белов. — Но мы готовы.

— Готовы, — повторил Филатов.

Тишина после третьего дня боя была не той, что раньше, — не успокаивающей, не мирной, не той, когда можно выдохнуть и сказать: «Сегодня мы выжили, завтра подумаем». Это была тишина, пропитанная кровью, тишина, в которой слышался не ветер, не шум леса, не далёкий крик птиц, а стоны раненых, которые не могли умереть, но и не могли жить, и хрип умирающих, которые уже не видели ни неба, ни земли, ни тех, кто оставался рядом, сжимая их руки, шепча молитвы, проклиная войну, врага, судьбу. Филатов шёл по окопам, и каждый шаг давался ему с трудом, не потому, что он был стар (хотя стар), не потому, что он был ранен (хотя раны напоминали о себе тупой, ноющей болью), а потому, что он знал: за каждым следующим поворотом он увидит ещё одно лицо, ещё одну смерть, ещё одну боль, которую не сможет унять, не сможет забыть, не сможет простить.

Белов сидел у блиндажа, перевязывая руку — осколок поцарапал, не сильно, но кровь текла, и он, матерившись сквозь зубы, затягивал бинт так туго, что пальцы немели. Увидев Филатова, он попытался встать, но старый полковник жестом остановил его: «Сиди, не геройствуй».

— Докладывай, — сказал Филатов, садясь рядом на ящик из-под снарядов, который ещё хранил запах пороха и смерти.

— Потери тяжёлые, — ответил Белов, и голос его был глухим, как у человека, который слишком долго кричал, а теперь не мог говорить иначе. — «Теней» осталось тридцать семь. Ополченцев — около тысячи. Казаков — меньше пятисот. Но мы выдержали. Они отступили.

— Надолго ли? — спросил Филатов, хотя знал ответ.

— На день. На два. Они перегруппировываются. Подтягивают резервы. У них техника, у нас — люди. Они могут позволить себе терять, мы — нет.

— Тогда будем беречь, — сказал Филатов. — Будем учить. Будем драться так, чтобы каждый наш выстрел стоил им десятерых.

— А если не получится? — спросил Белов, и в глазах его, усталых, красных, с тенями, которые не проходили даже после сна, была та самая, глубокая, почти безысходная усталость, которую Филатов знал по себе.

— Тогда умрём, — просто ответил Филатов. — Но умрём не зря.

Он встал, поправил ремень на левой руке и пошёл дальше, к раненым, к умирающим, к тем, кто ещё верил, что завтра наступит, и что завтра будет лучше, чем сегодня.

Санитарный пункт располагался в старом, полуразрушенном сарае, где когда-то, до войны, хранили сено, а теперь на соломе лежали десятки людей — без рук, без ног, с пробитыми головами, с вывернутыми внутренностями, и запах крови, гноя, йода, страха был таким плотным, что, казалось, его можно было резать ножом. Филатов прошёл вдоль рядов, останавливаясь у каждого, говоря каждому несколько слов — не важных, не тех, которые запоминаются,

а тех, которые нужны здесь и сейчас, чтобы человек не чувствовал себя брошенным, забытым, одиноким.

— Держись, брат, — сказал он молодому парню, у которого вместо правой руки был окровавленный, замотанный бинтами обрубок. — Ещё повоюем.

— Нечем, — ответил парень, и в глазах его была такая тоска, что у Филатова сжалось сердце.

— Головой, — сказал Филатов. — Головой тоже можно воевать. И иногда это важнее, чем руками.

Парень не ответил, только закрыл глаза.

К вечеру враг начал новую артподготовку. Снаряды рвались в лесу, на полянах, на дорогах, и земля дрожала, как живая, как больная, как умирающая, и Филатов, стоя в блиндаже, слушал этот грохот и думал о том, что когда-то, много лет назад, он уже слышал это, и тогда ему казалось, что это конец, что выдержать невозможно, что сил нет, что осталось только умереть. Но он выдержал. И сейчас выдержит.

Император Рюрик, держа на руках маленького царя Кирилла, который уже не плакал, а просто смотрел на отца своими чёрными, глубокими глазами, спросил:

— Федя, сколько мы ещё сможем держаться?

— Сколько надо, — ответил Филатов. — Столько, сколько потребуется, чтобы выиграть время. Чтобы собрать силы. Чтобы нанести удар.

— А если мы не успеем?

— Успеем, — сказал Филатов. — Клянусь Богом, успеем.

Ночью, когда артобстрел стих, и наступила та самая, звенящая тишина, которая бывает перед рассветом, Филатов вышел из блиндажа и долго стоял, глядя на звёзды. Он не молился — он давно разучился молиться, но думал о том, что где-то там, за лесами, за реками, за горами, есть ещё люди, которые не сдались, которые ждут, которые надеются, и что он не имеет права их подвести.

Утром враг пошёл в атаку. Танки, бронетранспортёры, пехота — всё это двигалось на них, на эту маленькую, измотанную, полураздетую армию, и Филатов, глядя в бинокль на приближающиеся серые силуэты, почувствовал, как внутри, где-то глубоко, закипает та самая, холодная, давно знакомая ярость, которая не раз спасала его в самых безнадёжных ситуациях.

— Братцы, — сказал он, поворачиваясь к солдатам, которые замерли в окопах, сжимая винтовки, — они идут. Их много. Но мы — русские. Мы не сдаёмся. Мы не отступаем. Мы будем драться до последнего. За Россию. За царя. За Бога.

— Ура! — крикнул кто-то. — Ура! — подхватили другие.

И они начали стрелять.

Первый танк вспыхнул, как свеча, от попадания гранаты, и чёрный дым, густой, едкий, пополз по полю, закрывая солнце, закрывая небо, закрывая надежду. Второй танк развернулся, пытаясь уйти, но его подбили из противотанкового ружья, и он замер, объятый пламенем, и из люка выскочил экипаж — трое, в чёрной, обгоревшей форме, — и их тут же скосили пулемётной очередью.

Пехота залегла, но не отступила — офицеры, в серых шинелях, с пистолетами в руках, поднимали их снова и снова, гнали вперёд, на пули, на смерть, на бессмысленный, страшный бой.

Филатов стрелял из своей винтовки, и каждый выстрел находил цель, и каждый раз он видел, как падает враг, и каждый раз он думал: «Ещё один. Ещё один. Сколько их?».

Бой длился несколько часов. «Тени» дрались отчаянно, и ополченцы, и казаки — все, кто мог держать оружие, все, кто мог стрелять, все, кто мог умирать. И враг, не выдержав этого отчаянного, бешеного сопротивления, начал отходить.

— Отходят! — закричал кто-то.

— Отходят! — подхватили другие.

— Не дать уйти! — скомандовал Филатов.

«Тени» бросились вперёд, добивая раненых, преследуя убегающих, и поле боя, залитое кровью, усеянное трупами, дымящееся остывающими танками, осталось за ними.

Император Рюрик, стоя на бруствере, смотрел на это поле, и лицо его было бледным, но твёрдым, и в глазах его горел тот самый огонь, который Филатов знал по молодости.

— Федя, — сказал он, — мы победили.

— Нет, — ответил Филатов. — Мы просто не проиграли. Победа будет потом. Если доживём.

После того как враг откатился, оставив на поле боя десятки сожжённых танков и сотни трупов — своих и чужих, уже не различимых, уже не имеющих ни званий, ни имён, ни наци-

ональностей, — Филатов приказал не преследовать. Не потому, что не хотел, а потому, что не мог: у него не осталось резервов, не осталось патронов, не осталось сил для контратаки, которая могла бы стоять им слишком многого. Он стоял на бруствере, глядя на запад, где догорали остовы техники, и чувствовал, как внутри, где-то глубоко, в том месте, которое он называл «солдатским сердцем», пульсирует холодная, тяжёлая усталость, не похожая на ту, что бывает после долгого перехода или бессонной ночи — эта была глубже, страшнее, безнадежнее.

Белов подошёл к нему, тяжело дыша, с лицом, перепачканным копотью и чужой кровью. Его левая рука висела на перевязи, но он не обращал на это внимания, сжимая в правой автомат, который, казалось, стал продолжением его тела.

— Фёдор Александрович, — сказал он, — потери уточнили. Триста двадцать убитых, почти шестьсот раненых. «Теней» осталось двадцать три. Ополченцев — чуть больше восьмисот. Казаки полегли — человек триста, не меньше.

— А враг? — спросил Филатов, не оборачиваясь.

— Враг потерял, по нашим подсчётам, около двух тысяч. Танков — двадцать с гаком. Бронетранспортёров — штук тридцать. Но они могут себе позволить такие потери. У них техника не кончается, люди — тоже.

— У нас люди кончаются, — тихо сказал Филатов. — И техника кончается. И надежда кончается.

— Не говорите так, — сказал Белов, и в голосе его прозвучала та самая, давно забытая мольба, которую Филатов слышал от него только однажды — в тот день, когда они хоронили Мороза. — Вы не имеете права.

— Я имею право говорить правду, — ответил Филатов. — Правда в том, что мы на грани. Если они пойдут в новую атаку сегодня или завтра, мы не выдержим.

— Значит, надо сделать так, чтобы они не пошли, — сказал Белов. — Как?

— Ударить первыми.

Филатов повернулся к нему. В глазах Белова горел тот самый огонь, который он сам когда-то зажёл в своих солдатах, и этот огонь, казалось, не мог погаснуть даже в самую тёмную, самую безнадежную ночь.

— У нас нет сил для атаки, — сказал Филатов.

— Есть, — ответил Белов. — Мы можем послать диверсионные группы. Взорвать склады, перерезать линии связи, уничтожить командование. Это даст нам время. Может быть, неделю. Может быть, две.

— А кто пойдёт?

— Я пойду. И «тени», кто остался.

Филатов молчал долго — минуту, две, пять. Он смотрел на Белова, на его израненное лицо, на его перевязанную руку, на его глаза, в которых не было страха, не было сомнения, не было ничего, кроме той самой, холодной, страшной решимости, которая заставляет людей идти на смерть, зная, что они не вернуться, зная, что их никто не вспомнит, зная, что это — их последний бой.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Иди. Но вернись.

— Постараюсь, — ответил Белов.

Он повернулся и ушёл, и Филатов смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри, где-то глубоко, что-то обрывается, что-то уходит, что-то умирает, и он не может этого остановить, не может вернуть, не может изменить.

Ночью диверсионные группы ушли в тыл врага. Филатов не спал — он сидел в блиндаже, глядя на карту, и думал о том, что судьба их маленькой армии, судьба всей России, судьба всего мира зависят сейчас от двадцати трёх человек, которые пошли туда, откуда не возвращаются, и он не знал, молиться ли за них, проклинать ли себя за то, что послал, или просто ждать, ждать, ждать, когда наступит утро, когда придёт весть, когда решится всё.

Император Рюрик, который тоже не спал, подошёл к нему и, сев рядом, тихо спросил:

— Ты веришь, что они справятся?

— Должны, — ответил Филатов. — Иначе зачем всё это?

— А если нет?

— Тогда мы умрём. Но не сдадимся.

Первая весть пришла на рассвете. Взрывы, которые раздались в тылу врага, были такими сильными, что даже на их позициях дрожала земля. Филатов выскочил из блиндажа и, глядя на запад, где небо полыхало багровым заревом, прошептал: «Молодцы. Молодцы, ребята».

Через час вернулись первые — двое, раненые, обожжённые, но живые. Они рассказали, что склады взорваны, связь уничтожена, командование выведено из строя, и что враг в панике, не знает, что делать, мечется, не может организовать новую атаку.

— А Белов? — спросил Филатов.

— Белов остался прикрывать отход, — ответил один из них. — Сказал, что догонит. Не знаем, догнал ли.

Филатов молчал. Он знал, что Белов не догонит, что он остался там, чтобы дать другим уйти, и что это — его последний бой, последняя жертва, последний долг.

— Боже, — прошептал он, — храни его.

Белов вернулся через три дня. Он пришёл пешком, опираясь на автомат, с лицом, изрезанным осколками, с простреленным плечом, с глазами, которые видели столько смерти, что, казалось, уже не могли смотреть на живых. Филатов, увидев его, не сказал ничего — только обнял, прижал к груди и долго стоял так, чувствуя, как дрожит тело старого друга, как бьётся его сердце, как он дышит, жив, выжил, вернулся.

— Ты дурак, — сказал Филатов, отстраняясь. — Зачем вернулся?

— А куда мне? — усмехнулся Белов, и в этой усмешке было что-то от прежнего, довоенного Белова, которого Филатов знал и любил. — Вы же без меня пропадёте.

— Пропали бы, — согласился Филатов.

Они рассмеялись, и этот смех, хриплый, надорванный, но искренний, разнёсся по позициям, и солдаты, услышав его, тоже начали улыбаться, потому что поняли: командир жив, враг отброшен, надежда есть.

— Ложись! — орал он на молодых парней, которые только вчера держали в руках вилы и топоры, а сегодня уже сжимали старые, выдавшие виды винтовки. — Прижимайся к земле! Она тебя не съест, а пуля съест! Целься в живот! В броню не бери — не пробьёшь! Бей туда, где брони нет: в лицо, в шею, в пах! Понял?

— Понял, товарищ полковник! — отвечал ему строй, и в этих голосах было не только послушание, но и страх, и надежда, и та самая, древняя, въевшаяся в кровь вера, что если слушать командира, то, может быть, выживешь.

Филатов, вернувшись из очередной поездки, привёз с собой не только пополнение — человек восемьдесят, в основном староверов и лесников, — но и удивительную весть: на востоке, за Байкалом, ещё держатся заводы. Не те гиганты, что были в Петрограде или на Урале, а маленькие, кустарные мастерские, где кузнецы и механики умели делать оружие не хуже, чем на больших предприятиях, а может, и лучше, потому что в каждую винтовку, в каждый нож, в каждую гранату они вкладывали не просто металл, а душу, и эта душа, помноженная на ненависть к врагу, могла творить чудеса.

— Фёдор Александрович, — сказал ему один из прибывших, молодой парень с чёрными, въевшимися в кожу масляными пятнами на руках, — мы слышали, что вы новое оружие задумали. Что-то такое, чтобы из окопа бить, не высываясь, и врага на километр доставать. Так мы можем помочь. У нас станки есть, у нас металл есть, у нас люди есть. Скажите только, что делать.

— Пока рано, — ответил Филатов, хотя в душе у него всё замерло — это был тот самый шанс, о котором он мечтал. — Сначала надо выжить. Потом — воевать. Потом — побеждать. А потом — изобретать.

— А если мы не выживем? — спросил парень.

— Тогда изобретать будет некому, — жёстко сказал Филатов. — Поэтому будем выживать.

Он не стал говорить парню, что уже думал о новой винтовке, что уже рисовал в голове чертежи, что уже представлял, как его солдаты, лежа в окопах, будут косить врага, даже не поднимая головы, и что эта винтовка должна быть простой, надёжной, как лопата, и смертоносной, как чума. Но сначала нужно было отбить атаку, которая, по данным разведки, должна была начаться со дня на день.

Враг не заставил себя ждать. Через два дня после возвращения Филатова в лагерь разведчики донесли: колонны танков и бронетранспортёров движутся к их позициям с трёх сторон, стремясь окружить и уничтожить армию одним ударом.

— Князь, — сказал Филатов императору, — нам нужно отходить. Недалеко, километров на двадцать, к болотам. Там их техника увязнет, и мы сможем драться на равных.

— А люди? — спросил император. — Они выдержат ещё один марш?

— Выдержат, — ответил Филатов. — Или умрут. Но умрут не в окопах, а в грязи. Врагу будет труднее.

Император кивнул.

Отступление началось в ночь. Солдаты, уставшие, измождённые, но дисциплинированные, грузились в кузова грузовиков, цеплялись за подножки, шли пешком, поддерживая друг друга, и Филатов, глядя на них, чувствовал, как гордость и боль смешиваются в его сердце в один горький, солёный комок, который невозможно проглотить, но и невозможно выплюнуть.

Белов командовал арьергардом, и его «тени» прикрывали отход, отстреливаясь от вражеских разведчиков, которые пытались прощупать их оборону. Несколько раз завязывались короткие, ожесточённые перестрелки, и каждый раз «тени» выходили из них победителями, но потери росли, и Филатов знал, что скоро они достигнут того предела, за которым армия перестанет быть армией.

К утру они добрались до болот. Место было выбрано не случайно: топь, кочки, редкие островки твёрдой земли, поросшие корявыми соснами, и бескрайнее, низкое небо, которое, казалось, давило на плечи, напоминая о том, что здесь, на краю земли, никто не услышит их криков, никто не придёт на помощь, и только Бог будет свидетелем их последнего боя.

— Окапываемся! — скомандовал Белов, и солдаты, падая с ног от усталости, начали рыть окопы в мёрзлой, жидкой грязи.

Филатов, обходя позиции, говорил с каждым, кому мог сказать хоть слово, и это слово было не приказом, не угрозой, а молитвой, просьбой, надеждой.

— Держись, брат, — говорил он молодому парню, который трясущимися руками пытался зарядить винтовку. — Держись. Мы выстоим.

— Вы верите? — спросил парень, и в глазах его был тот самый, первобытный страх, который не могут победить ни приказы, ни угрозы, ни даже страх смерти.

— Верю, — сказал Филатов. — Клянусь Богом.

Первый бой на болотах начался не с артподготовки — враг, наученный горьким опытом предыдущих атак, решил, что лучше послать пехоту без предварительного обстрела, надеясь застать русских врасплох, и эта надежда была не лишена оснований, потому что многие ополченцы, не спавшие третьи сутки, клевали носом в окопах, и даже «тени», привыкшие к бесконечным нагрузкам, чувствовали, как силы покидают их, утекая в холодную, липкую грязь, которая засасывала сапоги, мешала двигаться, напоминала о том, что зима здесь будет лютой, и что многие не доживут до неё, не увидят первого снега, не услышат, как трещат морозы, не почувствуют, как горят щёки от ветра.

Но часовые не спали. Часовые, которых Белов поставил на самых опасных направлениях, заметили движение в тумане первыми и дали сигнал тревоги — три коротких, резких свистка, которые разнеслись по позициям, как крик раненой птицы, и в ту же секунду окопы ожили, зашевелились, задышали. Солдаты хватали оружие, занимали места, и Филатов, стоя на бруствере, видел, как из серой, непроглядной пелены выступают фигуры — сначала редкие, потом всё чаще и чаще, а потом уже стеной, идущей на них, давящей числом, давящей массой, давящей страхом.

— Огонь! — скомандовал он, и винтовки заговорили.

Первые выстрелы были нестройными, беспорядочными — сказывалась неопытность ополченцев, которые ещё не привыкли стрелять по движущимся целям, не научились держать дыхание, плавно нажимать на спуск, не паниковать, когда свистят пули и рядом падают свои. Но Белов, который находился на правом фланге, быстро навёл порядок, и его «тени», стреляя короткими, точными очередями, начали косить врага, как траву, и враг, не выдержав этого огня, залёг, но не отступил, а залёг, и из его рядов застрочили пулемёты, и пули, свистя над головами, заставляли пригибаться, вжиматься в землю, молиться всем Богам, которых только знали.

— Не поднимать головы! — кричал Филатов, перебегая от окопа к окопу. — Лежать! Отвечайте только наверняка! Каждый патрон на счету!

Сражение длилось уже час, а враг всё не отступал, и Филатов понял, что это не разведка, не прощупывание обороны, а полноценная атака, в которой участвуют тысячи солдат, и что если они не выдержат, если дрогнут, если побегут, то за ними будет только болото, лес и смерть.

Император Рюрик находился в центре, среди ополченцев, и стрелял из винтовки, которую ему дал Филатов — старой, потрепанной, но надёжной, как всё, что делалось в России когда-то, до войны, до революции, до этого бесконечного, кровавого кошмара. Он не прятался за спины солдат, не укрывался в бункере, а был рядом, и это придавало людям сил, заставляло их держаться, стрелять, не отступать.

— Царь с нами! — крикнул кто-то, и этот крик подхватили другие, и в этом крике, в этой вере, в этой надежде было что-то древнее, первобытное, то, что помогало русским выживать в самые страшные времена, когда казалось, что уже ничего не поможет, что конец близок, что спастись невозможно.

К полудню враг начал отходить. Он оставил на поле боя сотни убитых, несколько подбитых бронетранспортёров и десятки раненых, которых не успел вытащить. Филатов приказал

не преследовать — не было сил, не было резервов, не было патронов, чтобы тратить их на бегущих.

— Окапываться! — скомандовал он. — Готовиться к следующей атаке. Они вернутся.

— Когда? — спросил Белов, подходя к нему с перевязанной головой — новая царапина, не опасная, но кровоточащая.

— Сегодня, — ответил Филатов. — Или завтра. Или послезавтра. Но вернутся.

Белов сидел у костра, перевязывал простреленное плечо, и лицо его, осунувшееся, с глубокими тенями под глазами, было похоже на лицо покойника, но он был жив, и это было главное.

— Фёдор Александрович, — сказал он, когда Филатов подошёл к нему, — я подумал: нам нужны мобильные группы. Небольшие отряды, которые будут выскакивать из леса, бить врага в фланг и уходить. Чтобы они не знали, откуда ждать удара.

— Хорошая мысль, — ответил Филатов, садясь рядом. — Но кого поставим?

— Я сам пойду, — сказал Белов. — И «теней» возьму, кто остался.

— Ты уже ранен, — заметил Филатов.

— А вы — стары, — усмехнулся Белов, и в этой усмешке было что-то от прежнего, довоенного Белова, которого Филатов знал и любил. — Но мы оба здесь. И оба будем драться, пока можем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.